

Б.Ю. Норман

**КОГНИТИВНЫЙ СИНТАКСИС
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Учебное пособие

Москва
Издательство «ФЛИНТА»
2013

УДК 811.161.1'367(075.8)
ББК 81.2Рус-923
Н83

Норман Б.Ю.

Н83 Когнитивный синтаксис русского языка : учеб. пособие /
Б.Ю. Норман. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 254 с.

ISBN 978-5-9765-1586-4

Когнитивное направление — одно из самых популярных в современной лингвистике. Оно изучает язык как средство познания мира; его инструменты — это мыслительные категории, концепты, метафоры. Книга представляет собой попытку в доступной форме показать участие синтаксических явлений — таких как модели предложения, глагольное управление, сочинительные связи и др. — в формировании языковой картины мира. В качестве источника материала используются тексты русской художественной литературы и разговорная речь. Для сопоставления привлекаются факты других славянских языков (белорусского, польского, болгарского и др.).

Для студентов-филологов и психологов, учителей-словесников и любителей русского языка.

УДК 811.161.1'367(075.8)
ББК 81.2Рус-923

ISBN 978-5-9765-1586-4

© Норман Б.Ю., 2013
© Издательство «ФЛИНТА», 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Глава 1. Что такое когнитивная лингвистика	6
Глава 2. Синтаксические модели как инструмент познания	34
Глава 3. Лексическая реализация синтаксической модели	58
Глава 4. Фразеологизация синтаксических моделей (конструкции «малого синтаксиса»)	79
Глава 5. Предикат и его синтаксическое окружение	102
Глава 6. Актанты и их реализация	125
Глава 7. Синтаксические преобразования	148
Глава 8. Сочинительная связь и ее роль в познании	172
Глава 9. Когнитивная роль синтаксических маргиналов	195
Глава 10. Псевдовысказывания под углом зрения когниции	218
Заключение	242
Литература	244

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когнитивная лингвистика сегодня — одно из самых популярных и перспективных ответвлений языкознания. Во многих вузах читаются специальные курсы по этой дисциплине. В рамках данной проблематики издаются монографии и сборники, пишутся диссертации, проводятся научные конференции. Хотя, по сути, когнитивная лингвистика продолжает собой направление языкознания, восходящее еще к классику мировой науки Вильгельму фон Гумбольдту: это изучение языка в его связи с мыслительной деятельностью.

Предлагаемое учебное пособие выросло из спецкурса, читавшегося автором в университетах разных стран, и его цикла статей по проблемам синтаксиса. Статьи эти были специально переработаны для данного издания.

Непосредственным толчком к написанию книги послужил международный проект языковедов, осуществлявшийся в рамках сотрудничества двух высших учебных заведений: Белорусского государственного университета в Минске и Рурского университета в Бохуме (Германия). В 2010 г. коллективная монография под названием «Die slavischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik / Славянские языки в когнитивном аспекте» под редактурой Т. Анштатт и Б. Нормана вышла в престижном немецком издательстве «Harrasowitz Verlag».

Основным материалом для пособия послужили тексты русской художественной литературы. Но при этом факты русского языка время от времени фрагментарно сравниваются с данными других славянских языков: белорусского, украинского, польского, чешского, болгарского. Это делается, во-первых, для того, чтобы читатель получил хоть приблизительное представление об особенностях языкового выражения мысли у других славянских народов. Расширение лингвистического кругозора

крайне необходимо нашим студентам. А во-вторых, сопоставление с фактами близкородственных языков позволяет филологу-русисту глубже познать свой родной язык.

Пособие состоит из 10 глав и рассчитано главным образом на студентов старших курсов и аспирантов. Исходя из дидактических целей, автор стремился сделать текст максимально доступным и не перегружать его ни терминологией, ни ссылками на научную литературу. Точные библиографические ссылки приводятся лишь в самых необходимых случаях, в остальных ситуациях автор ограничивается упоминанием фамилий.

Надо сделать и еще одну оговорку. В книге речь идет главным образом о том, как процессы познания связаны с формированием структуры простого предложения. Строение же сложного предложения, а тем более целого текста, представляет собой особый объект с позиций когнитивной лингвистики; этой проблематики автор здесь не касается.

ЧТО ТАКОЕ КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Каждое научное наблюдение, гипотеза или открытие происходит в рамках и на фоне определенной системы знаний. В 70-е годы прошлого века английский философ Томас Кун ввел в обиход понятие **научной парадигмы**, и с тех пор это словосочетание стало уже привычным. Парадигма научного знания — это система взглядов, которая определяет и постановку проблем, и методы их решения. Для языкознания конца XX века определяющим фактором стало вхождение в антропологическую (иначе антропоцентрическую) парадигму. В фокусе лингвистических исследований оказался человек, его внутренний мир и его поведение.

Когнитивная лингвистика — как раз «дитя» антропологической парадигмы. В центре этого нового направления в языкознании — та роль, которую играет язык в процессе познания действительности. Возникнув по аналогии с когнитивной психологией (лат. *cōgnitio* означает 'знание, познание, осознание'), когнитивная лингвистика ставит своей целью изучить и познающего субъекта (человека), и тот мир, который человек осваивает, и те механизмы, с помощью которых он это делает. Человек — мерило всех вещей.

Разве в такой точке зрения есть что-то удивительное? Почему же когнитивная лингвистика сформировалась как направление именно в конце прошлого столетия? Время от времени любая наука, в том числе гуманитарная, испытывает необходимость в переоценке ценностей и пересмотре достигнутых результатов. И возникновение когнитивной лингвистики было в какой-то мере реакцией на образовавшийся к тому времени перекокс в сторону «структуризации» языка и формализации методов его изучения.

В 60-е годы XX в. американский лингвист Ноам Хомский предложил свою теоретическую модель, которую он назвал генеративной (или порождающей) грамматикой. По замыслу

автора, это должно было быть максимально строгое и обобщенное описание устройства языка, содержащегося в сознании человека («языковой способности»), и правил его употребления («речевой компетенции»). В качестве наиболее общих правил порождающей грамматики выступают подстановка, или развертывание (каждая единица последовательно расщепляется на две непосредственно составляющих), и трансформация (каждая единица может быть преобразована по определенным правилам в другую единицу). При том, что Н. Хомский неоднократно сам модифицировал свою теорию, основными ее компонентами оставались синтаксический, семантический и фонологический (Хомский 1972, 131). Теория порождающей грамматики приобрела широкую популярность, особенно в США и Западной Европе, она оказалась удобной для символической (логико-математической) записи и, что еще важнее, пригодной для создания информационных языков, обеспечивающих диалог человека с компьютером.

Сближение с логикой и математикой не прошло для лингвистики бесследно. Однако оказалось, что при таком — обобщающем и формализованном — подходе некоторые стороны человеческого «духа» или, как сейчас говорят, ментальности, ускользают от внимания науки: семантика занимает в теории порождающей грамматики ограниченное и подчиненное положение, а тем более нет в ней места социальным аспектам функционирования языка...

Один из «отцов» когнитивной лингвистики, американский языковед Рональд Лангаккер таким образом систематизировал достоинства порождающей грамматики: а) экономность: теория должна объяснять максимальное количество фактов с помощью минимального количества правил; б) генеративность: теория алгоритмически прослеживает путь от исходного образца до множества высказываний и в) редуционизм: теория исключает, редуцирует отдельные выражения, выводимые с помощью более общих правил (Лангаккер 1997, 161). Но действительно ли, говорит ученый, языковая компетенция носителя языка столь логична и минимизирована? Можно ли все случаи речевого поведения подвести под немногочисленные универсальные пра-

вила? И разве человек всегда идет от общего к частному и не использует в своей речевой деятельности конкретные словосочетания и предложения, заученные им из предыдущего опыта общения? Отрицательный ответ на все эти вопросы заставляет Р. Лангакера (и не его одного) весьма критически отнестись к учению Хомского. Схоластичность последнего, игнорирование «психологической реальности» в какой-то мере и объясняет появление нового направления в науке о языке — когнитивной лингвистики.

Когнитивисты продолжают традицию изучения человека как системы переработки информации, но считают, что поведение индивида следует описывать в терминах его внутренних состояний (таких как «ощущать», «думать», «знать», «помнить», «предполагать», «верить» и т.п.). Центральным понятием становится **категоризация человеческого опыта**, находящая свое выражение в языковых формах. Собственно явления действительности и становятся достойными внимания «культурными объектами» только тогда, когда представления о них структурируются языковым мышлением.

Предпосылки когнитивной лингвистики сформировались в сотрудничестве языковедов с психологами. В частности, известный американский психолог Джером Брунер (на русский переведена его книга «Психология познания», 1977) и психолингвист Джордж Миллер (см. его статьи в сб. «Психолингвистика за рубежом», 1972, и др.) организуют в Гарвардском университете в 1960 г. первый центр когнитивных исследований. Но, формально говоря, когнитивная лингвистика ведет свое начало с 1989 г., когда в немецком городе Дуйсбурге состоялся симпозиум под именно таким названием. Там же было принято решение об издании специального журнала «Cognitive Linguistics» (выходит с 1990 г.) и научной серии «Cognitive Linguistics Research» (в ней вышла и «Библия» лингвокогнитологии: R.W. Langacker. Foundations of Cognitive Grammar). Крупнейшими зарубежными учеными, работающими в данной области, являются, кроме Р. Лангакера, Рене Дирвен, Чарльз Филлмор, Рэй Джекендофф, Джордж Лакофф, Леонард Талми, Реймонд Гиббс, Теун ван Дейк, Анна Вежбицкая. Работы мно-

гих из них переведены на русский язык (в том числе некоторые публиковались в «Вестнике Московского университета. Серия 9. Филология»). Вопросам когнитивной лингвистики был посвящен и один из выпусков (XXIII) серии «Новое в зарубежной лингвистике» (М., 1988).

Оказались близки к когнитивистике по своим исходным позициям и устремлениям также ученые, работающие в русле этнолингвистики и лингвокультурологии (в частности, в Польше это Ежи Бартминьский и ныне уже покойный Януш Анусевич).

В России известны работы в данной области Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова, Н.Д. Арутюновой, В.И. Карасика, Н.Ф. Алефиренко, З.Д. Поповой, М.В. Пименовой и других ученых; Беларусь представлена публикациями В.В. Макарова, В.А. Масловой, Н.Б. Мечковской и др. С 2003 г. существует Российская ассоциация лингвистов-когнитологов, издающая журнал «Вопросы когнитивной лингвистики».

Вообще в Советском Союзе, а затем и на постсоветском пространстве идеи когнитивистики упали на благодатную почву. Это было направление лингвострановедения, в основном сформировавшееся в рамках преподавания русского языка как иностранного. К концу XX в. лингвострановедение уже имело определенную теоретическую базу и практические достижения (работы Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Ю.Е. Прохорова и др.). Можно сказать, что сегодня среди языковедов существует «мода» на когнитивный подход, подобно тому как несколько десятилетий назад был популярен подход структуралистский. Впрочем, один современный исследователь (В.Б. Касевич) заметил, что когнитивной лингвистики вообще не существует, потому что лингвистика (настоящая лингвистика) не может быть некогнитивной. За этой риторической фигурой скрывается все то же признание гуманистической сущности языкознания: в конце концов, это наука о человеке. Недаром И.А. Бодуэн де Куртенэ еще сто лет назад называл языкознание наукой «психическо-социальной». Поэтому можно сказать, что когнитивная лингвистика — не столько новое направление в науке, сколько осознание того, чем, собственно, и должен заниматься языковед.

В то же время нельзя отрицать, что когнитивная лингвистика обогатила инструментарий языковеда некоторыми новыми понятиями.

Прежде всего это заимствованное из философии понятие «**концепт**». В литературе получают широкое распространение и производные от него «концептосфера», «концептуализация», «концептология» и др. Можно только с сожалением констатировать, что в трактовке этих терминов имеет место разнобой. Скажем, Ю.С. Степанов в своем капитальном труде «Константы» пишет: «Концепт — явление того же порядка, что и понятие. <...> В научном языке эти два слова также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого» (Степанов 2004, 42). Тому же автору принадлежит статья «Понятие» в авторитетном «Лингвистическом энциклопедическом словаре». Читаем там: «Понятие (концепт) — явление того же порядка, что и значение слова...» (ЛЭС 1990, 384). И данная позиция находит многократное подтверждение на практике. Так, в русском издании знаменитой книги Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (1980, рус. пер. 2004) английское *concept* передается то как *концепт*, то как *понятие*...

Разведение концепта, понятия, смысла, символа, архетипа, идеи, значения составляет сегодня одну из болевых точек семиологии и философии языка. В.И. Карасик, систематизируя различные трактовки концепта в современной литературе, очерчивает диапазон от предельно широкого его понимания (это «замещение в индивидуальном сознании любого значения») до предельно узкого («важнейшие культурно-значимые категории внутреннего мира человека») (Карасик 2006, 57–60). Но, кажется, указанное «широкое» толкование просто непродуктивно, а «узкому» не хватает лингвистической составляющей. Поэтому большинство российских лингвистов (А.А. Залевская, Н.Ф. Алефиренко, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) все же трактуют сегодня концепт как сложный комплекс, в который понятие входит наряду с другими составляющими: сенсорно-образной, ассоциативно-оценочной, фольклорно-литературной, национально-культурной, наконец, непосредственно языковой.

Собственно научная ценность понятия «концепт» состоит именно в том, что оно объединяет, синтезирует в себе различные виды познавательного опыта человека. Сюда входит и интеллектуальная (понятийная) база, сформировавшаяся в результате рационального обобщения явлений окружающего мира, и эмпирическая информация, полученная от органов чувств, и эмоционально-оценочный опыт, и, наконец, культурные традиции, свойственные данному этносу. Причем повторим еще раз: с нашей точки зрения, концепт как культурно-значимый фрагмент сознания так или иначе должен быть «оязыковлен». И чем значимее данный узел в сети ментальных отношений и поведенческих тактик социума, тем более необходимо для него стандартизованное обозначение: однословная номинация. В таком случае имеет смысл приписать концепту примерно такое рабочее определение: **вербализованный в сознании сгусток культуры** (есть и такое распространенное определение: «понятие, погруженное в культуру»). Это естественная и комплексная форма категоризации опыта. И, конечно, *концепт* как термин выгодно отличается от других сходных по содержанию названий, вроде *лингвокультурема*, *сапиентема*, *логоэпистема* и т.п.

Концепт предполагает определенный порог культурной значимости понятия («кванта знания»): иными словами, понятие должно быть достойно того, чтобы стать концептом. Не случайно представители разных языковых культур обращаются в своих исследованиях к одним и тем же «ключевым идеям», таким как «воля и свобода», «грусть и печаль», «правда и истина», «душа», «совесть», «страх», «пространство», «дружба» и т.п., — они приобретают роль символов. Но вот в упомянутом Словаре «Константы» Ю.С. Степанова наряду с такими — общечеловеческими и высокими — идеями представлены также «водка и пьянство», «черная сотня» и даже «Буратино»! Ничего не поделаешь: состав концептов национально обусловлен.

Специфика русскоязычной картины мира изучается, в частности, в работах А. Вежицкой, А.Д. Шмелева, А.А. Зализняк, И.Б. Левонтиной и др. Как уже отмечалось, данная проблематика знакома тем, кто занимался преподаванием родного языка иностранцам. В частности, из пособия Е.М. Верещагина и В.Г. Ко-

стомарова «Лингвострановедческая теория слова» мы можем получить представление о том, что такое самовар или городки, или узнать, что русское *университет* не вполне соответствует американскому *university*. Но именно когнитивистский подход придает этим отдельным фактам упорядоченный характер: они входят тем самым в систему смыслов, определяющих, что человек знает о мире, какое место отводит себе в нем.

Возьмем для примера культурный мир родственных славянских народов. Сходные условия жизни и в значительной мере общая история, казалось бы, должны предопределять общность менталитета, а с учетом родства языков и единство национальных концептосфер. Однако это не совсем так. В частности, для носителя польского языка среди важнейших «природных» концептов занимает свое место и «море». Морю посвящали свои стихотворения многие польские поэты, оно упоминается в десятках крылатых выражений, устойчивых сравнений. Примерно то же самое можно сказать о концепте «море» и применительно к русскоязычному сознанию. А вот белорус с морем практически не сталкивался, для него это некая виртуальная действительность. И понятно, что в концептосфере белорусского языка «морю» места не находится.

В научной литературе уже не раз отмечалось то особое место, которое занимает в польской культуре понятие *honor* «честь»; здесь это один из важнейших концептов. Считать польское *honor* и русское *честь* синонимами можно только условно, так как первое из них имеет сильную опору в шляхетской традиции и культивировалось веками практически без перерыва. Русское же *честь* в советское время сильно обесценилось и десакрализовалось (вспомним, в частности, лозунг: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», цитируемый сегодня, скорее, иронически).

Далее, для поляка особой концептуальной значимостью наделены понятия «извинение» и то, что по-польски называется *rozgrzeszenie*, т.е. «покаяние, снятие грехов». Когда открылась правда о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 г., то польская сторона долго ожидала от Советского Союза, а затем от российской стороны (правопреемницы СССР) признания

вины в страшном преступлении. А та не понимала (или делала вид, что не понимала) этого. Дело в том, что для русскоязычного сознания раскаяние не имеет того нравственного веса, который оно имеет для поляка, воспитанного в духе католицизма (ср. типичный русский обмен репликами в житейской ситуации: «Ты бы хоть извинился». — «Ну, извини»).

Еще пример. Казалось бы, находящееся на небе светило светит всем одинаково и, следовательно, должно вызывать у всех одинаковые ассоциации. Солнце дает жизнь, тепло и свет. Бесспорна роль солнца и в славянской мифологии, в народе это один из самых почитаемых символов. Подтверждение этому мы находим в многочисленных устойчивых выражениях и поговорках славянских языков. Однако при внимательном наблюдении обнаруживаются существенные различия.

Так, для болгар солнце — это часть того «земного рая», о котором поется в гимне этого государства: «Милая родина, ты — рай на земле...» В то же время Болгария — страна южная, и народ по преимуществу крестьянский, а значит, солнце приносит не одно только благо (нередко случаются засухи), и иногда приходится лишь мечтать о спасительной тени. Действительно, в ассоциативном словаре болгарского языка среди самых частых реакций на стимул *слънце* 'солнце' мы находим не только *топло*, *светлина*, *море*, *плаж*, *живот*, *радост*, *въздух* и т.п. (все эти слова, думается, специального перевода не требуют, кроме одного: *живот* — это 'жизнь'), но и *горещо* 'жарко', *пече* 'печет, жжет', *жарко*, *силно*, *горещина* 'жара', *жега* 'жара', *огнено*... В «Словаре болгарского языка» Найдена Герова (изданном на рубеже XIX и XX вв.) фиксируется даже клятва «Да ме изгори слънцето!», т.е. 'чтоб меня солнце испепелило!'.

Приведем еще одно любопытное свидетельство неоднозначности понятия «солнце» в сознании болгарина. По-русски мы часто говорим о солнце, используя уменьшительно-ласкательный суффикс: *солнышко*. В болгарском языке в принципе тоже существует такое образование: *слънчице*, но употребляется оно заметно реже, чем упомянутый русский диминутив. Трехтомный толковый словарь болгарского языка даже не включает в себя производное *слънчице*, зато дает *слънчасвам* 'терять сознание

из-за солнечного удара' и соответствующее существительное *слънчасване*.

Не с особенностями ли климата связана и некоторая «нелюбовь» болгарина к слову *горещ* 'горячий, жаркий'? Мы говорим: «В квартире есть холодная и горячая вода»; болгарин скажет: *В апартамента има студена и топла вода*. Мы говорим: «Ешь суп, пока горячий». Болгары: *Яж супата, докато е топла...* (см.: Норман 2005, 14–16).

Получается, что содержание концепта «солнце» в русском и болгарском коллективном сознании неодинаково; данная мысль получила уже подтверждение и в психолингвистических экспериментах (К. Исса). Это, с одной стороны, еще раз свидетельствует об обусловленности значений языковых единиц внеязыковыми факторами. А с другой стороны, мы убеждаемся в системном характере концептосферы: концепт «солнце» в ментальных мирах родственных славянских народов входит в разные отношения с другими концептами. Когнитивисты говорят в такой ситуации о «среде обитания» языкового знака: «Когнитивная семантика, изучающая знания с точки зрения интеграции в них языковой и экстралингвистической информации, обращена не только к содержанию языковых знаков, но и к среде их обитания. Это предполагает исследование семантики языковых единиц как *сложной и самоорганизующейся системы открытого типа*» (Алефиренко, Корина 2011, 16).

И такова специфика духовной сферы каждого народа. В этом кроется ответ на вопрос, каждое ли слово можно трактовать в качестве представителя концепта. В принципе — да, каждое, но это должно быть обосновано культурными, историческими и психологическими причинами. В.А. Виноградов в докладе на одной из конференций приводил такой пример: понятие «близнецы» в русском сознании малозначимо, оно, так сказать, «не дотягивает» до уровня концепта. Но есть языки, в которых это понятие значительно более концептуально: с ним связаны определенные поверия и ритуалы общественной жизни...

Наука долго подбиралась к такой единице психической деятельности, как концепт. В начале XX в. немецкие ученые предложили термин *Gestalt* (буквально 'образ, облик, форма') — отсюда

название целого направления в психологии: *гештальтпсихология*. Гештальт — целостное представление о некоем явлении, трудно сводимое к строгому комплекту признаков. Как писала уже в наши дни Р.М. Фрумкина, «человеку совершенно несвойственно формировать знания об объектах в виде набора признаков, описывающих данный объект. Напротив, человек склонен оперировать с объектом как с гештальтом. <...> Но это и представляет собой радикальное препятствие для построения формальной модели знаний» (Фрумкина 1993, 144).

Действительно, нетрудно убедиться, что наши представления о предметах разительно отличаются от их описания в словах. Так, каждый носитель русского языка хорошо представляет себе, что такое *гриб*: это немаловажная часть русской жизни. Все знают: «грибы растут в лесу», «летом или осенью», «гриб состоит из шляпки и ножки», «грибы собирают», «их заготавливают впрок, используют в пищу», «кроме съедобных, бывают и несъедобные (ядовитые)», «грибы бывают червивые»... (Кстати, все эти содержательные компоненты гештальта легко всплывают в ходе психолингвистических экспериментов.) Однако если мы заглянем в «Словарь русского языка» Ожегова, то найдем там совершенно другие сведения:

Гриб — Низшее растение, не образующее цветков и семян и размножающееся спорами.

Перечисленный набор признаков («растение», «низшее», «не образующее семян», «размножающееся спорами») образует научное понятие «гриб» и соответствует требованиям, предъявляемым к энциклопедической информации. Но он очень далек от жизненной практики обычного человека, который во множестве подобных ситуаций пользуется приблизительными комплексными образами — гештальтами.

А если допустить наличие в русскоязычном сознании **концепта** «гриб» — что изменится в нашем описании? Получится примерно следующее: «Гриб — растущее в осеннем лесу нечто вроде растения, которое человек использует в пищу. Состоит из ножки и горизонтальной шляпки. Бывает губчатым или

пластинчатым. Пойти за грибами (по грибы). «Третья охота». Корзинка (лукошко) и ножик. Грибное место. Грибной дождь. Грибной суп. Отравиться грибами. Ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами. Назвался груздем — полезай в кузов. Стар гриб, да корень свеж. Дешевле грибов. «Война грибов» (сказка) и т.п.

Очевидно, концепт выгодно отличается от гештальта своей богатой культурной «подкладкой» и языковой «привязанностью», прежде всего — опорой на лексическую номенклатуру. Это позволяет составлять «словари» или даже «энциклопедии» концептов, из которых мы узнаем, в какой более крупный класс входит «гриб» («природа», «лес», «пища» и т.п.), в каких конкретных словах данный концепт реализуется (*белый гриб, груздь, сыроежка, лукошко, грибник* и т.п.). Структура концепта, как это можно почувствовать уже по приводившемуся примеру, — многослойное образование.

Второй «инструмент» когнитивной лингвистики — это **фрейм** (в переводе с английского *frame* значит буквально 'рамка'). Фрейм — «структура знаний, представляющая собой пакет информации об определенном фрагменте человеческого опыта (объекте, (стереотипной) ситуации). Фрейм состоит из **слотов**, количество которых соответствует количеству элементов, выделяемых в данном фрагменте опыта» (Кобозева 2000, 65).

Спросим себя, например, какие знания связаны у нас с таким встречающимся в жизни явлением, как вешание картины? Это «стена комнаты (интерьер)», «молоток», «гвозди», «картина», «рама с веревкой»... Можно считать это всё элементами фрейма «вешание картины». Менее обязательны, но все же вполне вероятны, такие элементы, как «мужское занятие», «стремянка (или табуретка)», «сверление (или долбление) стены», «пробка (вбиваемая в стену)», «дядюшка Поджер» (знаменитый персонаж Джерома К. Джерома) и т.д.

Поскольку какие-то слоты носят центральный, обязательный характер, а какие-то более случайны и факультативны, то правомерно представлять фрейм не только в виде таблицы (матрицы), но и в виде поля. Фреймовое представление ситуации наиболее наглядно и продуктивно, если оно принимает вид сце-

нария: тогда его элементы располагаются во времени и соединяются неким подобием причинно-следственных связей. Скажем, примерно так: «Чтобы повесить картину (уже существующую), сначала выбирается место под нее. На стене ставится точка. Приносится и ставится стремянка. В стене делается углубление, в него загоняется пробка...» и т.д.

Фреймы, включающие в себя, наряду с вербальной, также информацию иного происхождения — зрительную, осязательную и т.п., — служат для человека в конкретном случае как бы руководством к действию, потому что они соответствуют стандартным представлениям о стандартных объектах. Например, если попросить русскоязычного человека представить себе картину «поездка на юг», то воображение нарисует ему палящее солнце, пляж, полуобнаженные тела, обилие южных фруктов и т.п. А для жителя Аргентины (государственный язык этой страны — испанский) структура фрейма «поездка на юг» будет совсем иной. Аргентина находится в южном полушарии, и чем дальше на юг, тем ближе к Южному полюсу и, соответственно, холоднее. На плоскогорьях Патагонии, на самом юге страны, бывают морозы до 30 градусов...

Третье понятие, которое привнесено в лингвистику сторонниками когнитивного подхода, — **языковая картина мира**. Вообще картина мира — это целостный, глобальный образ действительности, который формируется в общественном сознании в результате взаимодействия человека с окружающей средой. Философы говорят о научной, или энциклопедической, картине мира — она основана на достижениях конкретных наук. Можно, скажем, рассуждать о том, как повлияла теория относительности Эйнштейна на физическую картину мира.

Что же такое языковая картина мира, в чем ее специфика? Языковая картина мира — это отражение действительности в коллективном сознании, структурированное языком и запечатленное в языке. Существует масса примеров, подтверждающих расхождение языковой и научной картин мира. Приведем только некоторые известные, из области растительного мира.

Арбуз, с энциклопедической точки зрения, — ягода («многосеменной плод с сочным околоплодником»). Арахис — бобы, а

не орехи. Банановое дерево для специалистов — никакое не дерево, а трава. И бамбуковое дерево — злак, родственник овса... Впрочем эти нестыковки никак не мешают нам жить. Ботаник в сфере своих профессиональных интересов пользуется ботанической картиной мира, а мы все, неспециалисты, в обычной жизни — языковой. И продолжаем называть арахис орешками...

Сама постановка проблемы языковой картины мира восходит к трудам великого немецкого лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта (1767 — 1835). По Гумбольдту, каждый язык обладает специфической для него внутренней формой, которая как бы навязывается мышлению и в значительной мере определяет поведение человека.

Данная мысль была воспринята и доведена до своего логического завершения американскими этнолингвистами Эдвардом Сепиром и его учеником Бенжаменом Ли Уорфом. В начале XX в. они сформулировали теорию лингвистической относительности (ее называют еще гипотезой Сепира–Уорфа), которая в наиболее своих категорических положениях звучит так: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они <...> самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании» (Уорф 1960, 174).

Современные представители когнитивной лингвистики стараются трезво оценить место и роль языка во взаимодействии человека и окружающей среды. В конце концов, человек познает мир не только через язык и вместе с языком; его органы чувств, его житейский опыт предоставляют ему массу информации, иногда прямо с языком не связанной или даже языку противоречащей. Но отвлечься от языка в процессе познания, не испытывать совсем его влияния невозможно.

Это участие языка в процессах когниции можно кратко систематизировать и прокомментировать так.

Во-первых, языку поручается номинативная функция: закрепить в знаках, как бы застолбить, освоенные участки дей-

ствительности. Они оформляются в памяти как понятия, но материей для этих единиц служат слова. Немецкий философ-просветитель XVIII в. Иоганн Готфрид Гердер писал: «Ни у одного народа нет представлений, которых он не мог бы назвать; самый живой образ тонет в тёмном чувстве, пока душа не находит нужный признак и не запечатляет его благодаря слову в воспоминании, памяти, рассудке — в рассудке всего народа, в традиции...» («Идеи к философии истории человечества»). При этом то, что представляется более важным, функциональным, без чего на практике не обойтись, должно быть выделено в первую очередь и названо отдельным словом (или устойчивым словосочетанием). И, уже составляя определенную номенклатуру имен, язык учит нас замечать или, наоборот, не замечать те или иные явления; он ранжирует их по степени важности, существенности для нашей жизни.

И здесь примеры привести нетрудно. Скажем, пальцы рук мы хорошо различаем (и называем их по отдельности, хотя и с разной степенью уверенности: *большой, указательный, средний...*), а пальцы ног с помощью слов обозначаются намного хуже. Кроме большого пальца и мизинца, остальные придется просто нумеровать: *второй, третий, четвертый*. И части пальцев (то, что в медицинской терминологии называется *фаланги*) тоже никак специально не называются. Слово *ладонь* мы прекрасно знаем и часто используем, а вот обратную, внешнюю сторону руки никак не называем (можно сказать только описательно: *тыльная сторона ладони*). Слово *запястье* вспомнит далеко не каждый человек, и не каждый сможет показать, где у него запястье находится... А нижнюю, мягкую часть уха стали называть мочкой только с тех пор, как на нее стали вешать серьги — до тех пор она никак не привлекала к себе внимания...

Мы видим, что язык — спутник и инструмент познания. То, что не названо, — как бы не существует, во всяком случае, недостойно быть предметом внимания. До тех пор, пока человек, допустим, палец на ноге не ушибет или запястье не оцарапает, у него и не возникает необходимости специально называть эти явления действительности. А язык ведь отражает не отдельные ситуации, а массовый, общественный опыт. И, закрепляя назва-

ния за «нужными» вещами, он экономит усилия и отдельного человека: зачем ему знать «лишние» слова? Вот медику, тому — да, надо знать название каждой косточки, каждого хрящика. Как писал известный психолингвист Н.И. Жинкин, «любая вещь, даже воображаемая, к какой бы области сенсорики она ни относилась, может стать заметной только если имеет имя» (Жинкин 1982, 95).

Но познавательная миссия языка заключается не только в том, чтобы называть или же, напротив, не называть реалии окружающего мира. Язык еще эти реалии упорядочивает, ранжирует, опять-таки обобщая предшествующий опыт языкового коллектива.

Возьмем для примера членение человеком времени, его циклическое восприятие и представление. Время существует объективно, вне нас. От вращения Земли вокруг Солнца зависит смена времен года, от вращения Земли вокруг себя — чередование дня и ночи. Но как воспринимает эти изменения человек?

После того, что уже сказано, нас не удивит, что в каждом языке есть названия дней недели: *понедельник, вторник, среда...*, но нет названий ночей. Ночь — своего рода провал в жизнедеятельности человека, она не существует как особый отрезок, достойный наименования. Ее можно обозначить только как «привесок» к дневному времени, например: *ночь с понедельника на вторник* и т.п.

Представляют интерес и словообразовательные особенности в данной сфере, они опять-таки отражают «стиль жизни» этноса. В частности, в русском языке от названий дней недели естественно образуются прилагательные. Если взять за основу показания важнейших толковых словарей русского языка — Большого академического (17-томного, сокращенно Б), Малого академического (4-томного, М), Толкового словаря под редакцией Ушакова (4-томного, У) и 1-томного Словаря Ожегова (О), — то мы получим следующую картину:

понедельник — понедельникный (БУО)

вторник — вторничный (БУОМ)

среда — *средовый

четверг — четверговый (БО)

пятница — пятничный (БУО)
суббота — субботний (БУОМ)
воскресенье — воскресный (БУОМ).

Только *субботный* и *воскресный* в этом ряду выглядят вполне естественно. Мы легко скажем: *субботный вечер*, *воскресная школа* и т.п. Эти дни — особые, они лучше всего выделяются на протяжении недели нашим сознанием. Данные прилагательные есть и во всех четырех словарях (БУОМ). Хуже выглядят образования *понедельничный*, *вторничный*, *четверговый*, *пятничный*. *Вторничный*, правда, тоже зафиксирован в четырех словарях, но употребляется это слово редко. *Понедельничный* и *пятничный* отсутствуют в Малом академическом. *Четверговый* есть только в Большом академическом и в Ожегове. А «средовый» сказать по-русски вообще невозможно (что и отмечено звездочкой), его нет ни в одном словаре. Возможно, образованию его мешает еще и омонимия слова *среда* ‘третий день недели’ со словом *среда* — ‘окружение’?

И все же на чем основана такая дискриминация? Правдоподобным выглядит такое объяснение. У человека довольно редко возникает необходимость охарактеризовать какое-то событие через его положение в ряду буден (в крайнем случае можно использовать предложно-падежную форму: *собрание в понедельник*, *гости в среду*, *спектакли по четвергам* и т.п.). А вот суббота и воскресенье — особые дни! И прилагательные, образованные от них, очень даже нужны.

Еще один пример из той же области — хорошо нам знакомые названия месяцев: *январь*, *февраль*, *март* и т.д. Они совершенно равноправны. Казалось бы, и употребляться в речи они должны примерно с одинаковой частотой. Действительно, «Частотный словарь русского языка» под ред. Л.Н. Засориной фиксирует на объеме в 1 млн словоупотреблений такую частоту встречаемости данных слов: *февраль* — 53, *март* — 82, *апрель* — 63, *май* — 75, *июнь* — 42, *июль* — 49, *август* — 45, *сентябрь* — 47, *октябрь* — 97 (повышенная частота здесь, видимо, связана с тем обстоятельством, что в период, когда составлялся Словарь, было популярно словосочетание *Великий Октябрь*), *ноябрь* — 56, *декабрь* — 52. А почему же мы начали этот ряд с февраля, а не с ян-

варя? Да потому, что слово *январь* резко выпадает из этого ряда: оно встретилось на данном объеме текстов 237 раз! И это требует объяснения с позиций когнитивной лингвистики. Дело, очевидно, в том, что январь — не просто рядовой месяц, но начало года, т.е. еще и точка отсчета в иных координатах. Он занимает особое место в нашем сознании, а значит, и упоминается чаще других. (Вместе с тем это подходящий повод оговориться, что ранг слова в частотном словаре сильно обусловлен характером тех текстов, на которых основывались подсчеты.)

Практика нашей жизни неизбежно вмешивается в принципы классификации. Когда ученый систематизирует объекты действительности, он, естественно, опирается на данные наук. И, скажем, выделяет общее, родовое понятие «жидкость», под которое подводятся более частные, видовые понятия: «вода», «молоко», «кровь», «чернила» и т. п. Это пример научной таксономии. Но для человека в его обыденной жизни такой уровень обобщения, как «жидкость», оказывается неважен, ненужен. Вот вода — это то, с чем он сталкивается каждый день! И даже когда мы читаем у писателя, моряка и путешественника Виктора Конецкого фразу: *Под нами пять километров жидкости* (повесть «Среди мифов и рифов»), то понимаем, что автор намеренно играет с нами, шутит — на самом деле так не говорят!

Получается, что в сознании носителя языка «жидкость» — это как бы «что-то вроде воды», «вода с чем-то», особая разновидность воды! Тем самым отношения в языковой картине мира переворачиваются: «жидкость», как это ни странно, становится представителем «воды» (М. Гроховски). Перед нами пример когнитивного освоения реальности в направлении: «частое» → «типичное» → «родовое» (см.: Норман 2011, 314–317).

Мы видим, что организующая роль языка проявляется и в его способности канонизировать какие-то виды отношений между сущностями. В грамматике для этого есть специальные средства. В каких-то языках используется падежная парадигма, в каких-то — система предлогов, в каких-то — порядок слов (а нередко эти средства комбинируются между собой). В частности, для выражения тех же временных значений в русском языке существует целый ряд падежных и предложно-падежных

форм. В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой (Золотова 1988) перечислены 24 формы, которым свойственна функция темпоратива — «компонента, выражающего временные характеристики». И среди них встречается выражение очень тонких оттенков!

Так, по-русски можно сказать: *С 9-го сентября они не виделись*. Или: *После 9-го сентября они не виделись*. И так, и так правильно, но в чем разница? По-видимому, в первом случае имеется в виду некоторая дата: *девятое сентября*, и всё. А во втором случае *девятое сентября* — это дата некоторого события, сыгравшего определенную роль в жизни тех, о ком идет речь. Значит, точке на временной оси мы можем придавать содержательное наполнение!

Конечно, предложно-падежные формы довольно «прихотливы» в своих отношениях с лексикой (Г.Е. Крейдлин). И все же нередко обращение к человеческому опыту позволяет нам объяснить, мотивировать возможность или невозможность того или иного сочетания. Почему, например, мы можем сказать: *Под утро всё стало ясно. Под вечер собрались тучи. Под конец квартала все сдают отчеты*, но нельзя сказать: «Под ночь собрались тучи» или «Под начало квартала все должны сдать планы работы»? Возможно, дело в том, что конструкция «предлог *под* + существительное в винительном падеже» означает не просто ‘накануне’, ‘перед каким-то моментом’, а предполагает еще оттенок ‘подводя итоги за предшествующий отрезок времени’! *Под утро* значит ‘к концу ночи, перед утром’; *под воскресенье* — ‘в конце недели, перед воскресеньем’... А сказать «под день» или «под четверг» никому и в голову не приходит!

Еще один пример. Если какое-то событие регулярно повторяется, то мы употребим в русской речи форму «*по* + существительное во множественном числе и в дательном падеже»: *по утрам, по понедельникам, по четным числам*... Можно, в частности, сказать: *По понедельникам газета публикует гороскопы*. Но нельзя сказать: «по феврялям» или «по Пасхам». Лучше: *каждый февраль, каждую Пасху*... Может быть, причина этого — в том, что в языковых конструкциях отразилось стандартное, привычное для нас понимание регулярности? В каких-то рамках мы

повторяемость события ощущаем, а в каких-то — уже нет, каждое явление выглядит самостоятельным.

У каждого народа — своя языковая картина мира, со своими, хоть небольшими, отличиями. В частности, автор статьи, посвященной итальянской языковой картине мира, замечает, что русскую фразу *Я иду от Джулии к Марко* невозможно буквально перевести на итальянский язык. Причина — «отсутствие предлога, который мог бы передать значение ‘от кого?’, но, по-видимому, сама мысль в таком виде отсутствует в итальянской картине передвижений в пространстве. Итальянское представление о перспективе подобного движения передается следующим контекстом: ‘Только что я был у Джулии, а теперь иду к Марко’» (Стуликова 2002, 103).

Иногда научную картину мира противопоставляют наивной, или обыденной, и тогда естественно возникает вопрос: а чем наивная картина мира отличается от языковой? Скажем прямо: это очень близкие вещи. Обыденное сознание человека очень сильно «пропитано», обусловлено языком. Но все же различивать эти две формы представления действительности целесообразно хотя бы в тех случаях, когда известные человеку (благодаря органам чувств) явления не имеют строгого вербального воплощения. Скажем, человек, использующий в пищу куриные яйца, хорошо знает, что под скорлупой, обычно с тупого конца, есть маленький промежуток, воздушная камера. Как она называется? А никак (у специалистов есть особое название). Эта часть наивной картины мира словесно не выражается. Или, положим, любители комиксов знают: короткие реплики пишутся там на этиких «облачках», как бы вылетающих изо рта персонажей. Зрительный образ довольно устойчивый, но специального названия для этих «пузырей» (по-итальянски — *fumetto*) нет, в русскую языковую картину мира это не входит.

В то же время, замечу, могут быть какие-то элементы языковой картины мира, не находящие себе соответствия в реальности и, соответственно, отсутствующие в наивной картине мира. Таковы, возможно, грамматические значения залога или рода (последнее — в том случае, когда оно никак не соотносится с биологическим полом). А уж о лексических значениях, за

которыми не стоит никаких референтов в действительности, начиная с какого-нибудь *теплорода* или *флогистона*, написано довольно много.

Четвертое важное понятие, которое актуализировалось благодаря когнитивной лингвистике, — это **метафора**. Метафора — один из стандартных типов (наряду с метонимией) развития переносного значения слова. Этот термин широко используется также в литературоведении, тогда под ним понимается художественный прием. Но когнитивная лингвистика расширила рамки данного понятия. Здесь это — важнейший способ познания мира, заключающийся в переносе уже установленных концептуальных знаний на иные, новые явления. В уже упомянутой книге Дж. Лакоффа и М. Джонсона прямо утверждается: «Метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и мышление и деятельность» (Лакофф, Джонсон 2004, 25).

Действительно, если человек описывает чьи-то эмоциональные состояния, то часто пользуется при этом скрытым сравнением с состояниями физическими, например: *сорваться, взорваться, загореться (чем-л.), кипеть, киснуть, сохнуть (по кому-л.), чувствовать себя разбитым, дрожать от страха, кусать себе локти, вытась в осадок* и т.п. Ср. еще высказывания: *Я был тронут его замечанием; Смерть матери потрясла его; Эта идея вывела меня из равновесия* и т.п. Это, по Лакоффу и Джонсону, проявление метафоры «ДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИЙ — ЭТО ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ». Другие метафоры, определяющие наше поведение (не только речевое), это «СПОР — ЭТО ВОЙНА», «СПОР — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ», «ЛЮБОВЬ — ЭТО БОЛЕЗНЬ», «ВАЖНЫЙ — ЭТО БОЛЬШОЙ» и т.п.

Общая идея здесь не вызывает возражений: сравнение как способ организации знания играет важную роль. Но не переоцениваем ли мы тем самым роль метафоры в познавательном процессе? Можем ли мы всю языковую картину мира объяснить сведением к ограниченному количеству базовых концептуальных метафор? И, самое интересное, как происходит развитие лексического значения слова, попадающего в сферу действия той или иной метафоры?

Рассмотрим здесь простой пример: слово *чемодан* в русском языке. Это действительно существительное с несложной предметной семантикой. Толковые словари не сильно расходятся в определении данной номинации.

В частности, Словарь Ожегова дает следующее толкование: *Чемодан — Твердая коробка (из кожи, фибры и т.п.) с прикрепленной запирающейся крышкой, употребляемая в дороге для вещей.*

Согласно «Комплексному словарю русского языка» под редакцией А.Н. Тихонова, чемодан — это: *Род коробки, ящика с крышкой и ручкой для вещей, которые берут в дорогу.*

А «Русский семантический словарь» под редакцией Н.Ю. Шведовой дает такое определение: *Чемодан — Вместительное из твердого, прочного материала для ручной перевозки вещей, обычно четырехугольное, с откидной крышкой, запорами и ручкой.*

Обратим внимание на те семы, которые включены в толкования: 'вместительное', 'коробка', 'твердый', 'для перевозки вещей', 'с четырьмя углами' (вообще-то углов у чемодана восемь, но в проекции, действительно, четыре), 'с крышкой, запорами, ручкой'. В совокупности они дают лексикографическое значение, очень близкое к тому, что в качестве набора признаков подводится под понятие «чемодан».

Конечно, можно подвести данное понятие под метафору: **ЧЕМОДАН — ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ**. Тем самым предопределяются пути дальнейшего семантического развития слова. Но любопытно, что у слова *чемодан* в литературном языке только одно (упомянутое) значение. Никаких переносных, вторичных значений словари не фиксируют. Однако если выйти за пределы русского литературного языка и обратиться к словарям субстандарта — молодежного или уголовного сленга, профессиональных жаргонов, — то у данной лексемы обнаруживается целый букет переносных значений. Причем нередко их довольно трудно возвести к основному (прямому) значению, т.е. найти то основание, по которому, собственно говоря, и произошел перенос значения.

Вот эти значения — перечислим их, слегка при этом систематизировав:

- жесткий чехол для гитары;
- гроб;

рот, пасть;
молодой человек;
серый, неинтересный человек;
лицо (обычно большое, толстое);
артиллерийский снаряд;
машина, автомобиль (обычно старый, неисправный);
угон автотранспорта;
мощный восходящий поток воздуха (спорт.);
женские гениталии;

о том, что доставляет неудобства, но с чем расстаться невозможно, жаль (*чемодан без ручки*);

о чем-то секретном, скрываемом, неизвестном, непознанном (*черный чемодан*)...

Спрашивается: откуда берутся эти переносные значения? Конечно, некоторые из них можно без особого труда связать с прямым значением метафорическими переходами. Например, значения «гроб» или «твердый футляр для гитары» прямо основаны на семантической базе «вместилище, емкость». Чуть сложнее, но тоже с помощью метафоры, можно объяснить и появление у слова *чемодан* значений «рот, пасть» или «женские гениталии». Можно попытаться и остальные переносные значения объяснить через сеть последовательных семантических переходов.

И все же попытаемся предположить: большинство переносных значений, наблюдаемых у слова *чемодан*, мотивированы, спровоцированы не языком, не метафорическими моделями, а самой жизнью, а именно культурными, литературными и эмоционально-образными контекстами. И тут мы — это важно — возвращаемся в сферу концептов.

Конечно, «чемодан» — более частный и маргинальный концепт, чем, допустим, «свобода» или «совесть». Однако он немаловажен для русскоязычного человека. Достаточно уже того, что слово *чемодан* «вытягивает» в сознании такие смыслы (соответственно, сценарии), как «путешествие», «командировка», «отъезд за границу», «одежда и ее хранение» и т.п.

Дело в том, что в сознании носителя русского языка слово *чемодан* входит в великое множество ситуаций, закрепленных в собственном опыте говорящего (зрительном, тактильном, мо-

торном...), а также, что еще важнее, в прецедентных текстах: крылатых выражениях, песнях, анекдотах, детских стихах, устных рассказах и т.п. И в этих контекстах присутствуют и те составляющие (слоты), которые в явном виде не представлены в толковании слова *чемодан*. Ни один словарь не даст в толкованиях этой лексемы такие семы, как 'тяжелый', 'устарелый', 'неживой', 'неумный', 'скудный', 'неудобный', 'сильный', 'упрямый', 'агрессивный', 'эмиграция', 'таможня', 'эвакуация', 'война', 'кража', 'контрабанда', 'двойное дно', 'командировка', 'вокзал', 'поезд', 'камера хранения', 'носильщик', 'гостиница', 'турист', 'рюкзак', 'сумка' и т.п. А в речи все эти семы, все эти фоновые знания находят свое воплощение! Дело тут, получается, не в концептуальной метафоре, а в жизненном (и речевом) опыте социума!

Припомним некоторые примеры.

С детства знакомые строки: *Дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж...* (С. Маршак. Багаж) развивают тему путешествия, в которой чемодан, конечно, играет роль типичного багажа (особенно по сравнению с диваном).

Однако багаж может быть не только материальным, и в таком случае *чемодан* способен обозначать метафорическое хранилище духовных и нравственных ценностей. Примером послужат строки из известной песни:

И пусть полным-полно набиты мне в дорогу **чемоданы** —
Память, грусть, невозвращенные долги...

(Ю. Кукин. За туманом)

«**Чемодан, вокзал, Россия!**» — известный лозунг националистов, выдавливавших русских из прибалтийских республик после распада СССР. Чемодан здесь своего рода условие (или инструмент) эмиграции. Темы «эмиграция» и «чемодан» вообще внутренне связаны. У Сергея Довлатова есть замечательный цикл рассказов «Чемодан». Здесь чемодан — не просто чемодан, а своего рода музей эпохи: каждая находящаяся в нем вещь (носки, куртка, шапка...) напоминает владельцу-эмигранту о каком-то фрагменте прошлой, доэмигрантской жизни...

Известна фотография Иосифа Бродского перед самым его отъездом из страны: он сидит на перроне верхом на большом кожаном чемодане. И этот чемодан — тоже с историей. Отец Бродского привез его в качестве трофея с войны. Для поэта же он, со всем его содержимым, оказался последней памятью о негостеприимной родине (потом этот чемодан был подарен вдовой поэта Музеем Бродского). «Из тюрем приходят иногда, из заграницы — никогда...», — как писал другой поэт. Сегодня в дворике филфака Петербургского университета — небольшой памятник, о который можно нечаянно споткнуться: голова Бродского на чемодане...

По сравнению с сумкой, рюкзаком, пакетом чемодан тверд. У того же Сергея Довлатова встречаем: *Взгляд холодный и твердый, как угол чемодана* (С. Довлатов. Наши). Фразеологизм *сделать морду чемоданом* (вариант: *кирпичом*) — «продемонстрировать нежелание понять, пойти навстречу». От сем 'твердость', 'недружелюбность' — недалеко до агрессивности. В одной из серий мультфильма «Ну погоди!» Волк оказывается на океанском лайнере. Из-за сильной качки чемодан Зайца падает с полки, раскрывается и превращается в разъявленную пасть (вспомним одно из метафорических значений данного слова). И уже не Волк за Зайцем, а Чемодан гоняется за Волком...

Та же сема в скрытом виде содержится в следующем контексте: *...Он отбирал у Лоры кое-как набитый, закусивший юбку чемодан, сворачивал с ее ослабевших ног, крепко хватаясь за каблук, сырые сапоги* (О. Славникова. Тайна кошки).

От сем 'прочный', 'крепкий' — один шаг до 'сильный', 'мощный', 'тяжелый'. Последние семы тоже неплохо представлены в литературных контекстах, ср. хотя бы следующую цитату:

...Тут с немецкой стороны с жутким воем летит чемодан и покрывает весь этот праздник братания земель и осколками (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

Чемодан — крупный, объемный предмет. В подтверждение этому — анекдот.

Рослый человек заходит в магазин обуви и спрашивает туфли большого размера. Ему предлагают сорок пятый. Меряет — нет, малы. Приносят сорок шестой. Малы. Сорок седьмой. «А еще больше у вас есть?» Ответ: «Дальше начинаются чемоданы».

Сем 'вместилище' и 'из кожи' оказалось достаточно для перехода от обуви к чемоданам.

А в детском стихотворении С. Маршак «Большой карман» читаем:

До чего большой карман —
Не карман, а чемодан!..

Итак, чемодан, оказывается, — не просто «вместилище», а «большое вместилище»! Неудивительно, что в одном из словарей сленга зафиксировано значение «лицо (обычно большое, толстое)». Название *чемодан* может быть употреблено и по отношению к другим большим, объемным, угловатым предметам, ср. цитату:

Настя подошла к серебристому «мерседесу», вынула из сумочки брелок... «Мерседес» — «жопа **чемоданом**» — дважды мигнул «габаритами» (А. Константинов. Мусорщик).

Чемодан постепенно становится символом прошлой эпохи. (В современной жизни меняется не только его форма, но и принципиальный способ обращения с ним: чемодан приобретает колесики и выдвижную ручку, его не несут, а катят...) В силу «устарелости» в значении *чемодан* актуализируются семы 'неживой', 'неумный' и т.п.

Можно ли сравнить с чемоданом... корову? Можно, если мы хотим ее принизить:

Есть что-то жалкое в корове, приниженное и отталкивающее. В ее покорной безотказности, обжорстве и равнодушии. Хотя, казалось бы, и габариты, и рога... Обыкновенная курица и та выглядит более независимо. А эта — **чемодан, набитый говядиной и отрубями...** (С. Довла-

тов. Компромисс; здесь мы обнаруживаем, что чемодан может означать **только** «вместилище», сам по себе он ничего не значит).

В сказке А. Толстого «Золотой ключик» ловец пиявок Дуремар говорит черепахе: «*Ах, ты старый плавучий чемодан, глупая тетка Тортила!*» Чем черепаха может напоминать чемодан? Семы 'глупость' и 'старость' здесь эксплицированы, выражены специальными словами. Они же по принципу семантического согласования актуализируются и в значении лексемы *чемодан*. Кроме того, перенос значения поддерживается семами 'объемность', 'блестящая поверхность' и т.п. А вот что касается «глубоко запрятанной» семы 'плавучесть', то, по-видимому, ассоциация чемодана с плавательным судном тоже неслучайна. Она уходит корнями если не в эмпирический опыт, то в дискурсивные знания, ср. известную детскую считалку:

Плыл по морю **чемодан**,
В чемодане был диван,
На диване сидел слон,
Кто не верит — выйди вон!

Далее. Чемодан значит «дорога»: или уход, или возвращение. Вот авторская ремарка в пьесе В. Маяковского «Баня»:

Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с **чемоданом** Победоносцев.

Раз с *чемоданом* — значит, не просто выходит из дома (квартиры), а уезжает, и, возможно, надолго.

Существует масса анекдотов на классическую тему: «Муж возвращается из командировки» и карикатур на ту же тему. А как нарисовать «Муж возвращается из командировки»? Мужчина («муж») в пальто и в шляпе стоит в дверном проеме, лицом в комнату («возвращается»), у ног — чемодан («из командировки»). Таким образом, зрительный образ чемодана участвует в создании других, более сложных визуальных стереотипов, при этом он пересекается, переплетается с вербальными данными.

Выше мы уже приводили определение семантики как «системы открытого типа». А теперь видим на конкретном примере, что взаимодействие языковой и внеязыковой информации здесь, действительно, не имеет предела.

Фразеологизм *чемодан без ручки* употребляется в значении: «и нести трудно, и бросить жалко». *Чемоданное настроение* означает «тревожное или возбужденное состояние, связанное с предстоящим переездом»; здесь важен особый эмоциональный оттенок. Близкое к этому выражение *сидеть на чемоданах* значит «ждать переезда, ощущать временность своего существования», ср.:

Живу на даче, гляжу на сосны, наверно, это и есть счастье, но я так не привык к счастью, что чувствую себя здесь словно **на чемоданах** (Ю. Нагибин. Дневник).

Чемодан может быть и единицей измерения накопленного имущества, достатка: *целый чемодан добра!* Классический литературный пример — чемодан Корейко с десятью миллионами в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок».

Разумеется, структура концепта национально обусловлена. Точнее, наряду с универсальной, общечеловеческой частью, в нем есть и национально-культурные составляющие. Это можно показать и на использованном материале. Понятно, что лозунг «*Чемодан, вокзал, Россия!*» не может рассматриваться в отрыве от политической ситуации, складывавшейся на рубеже 80—90-х годов в разваливавшейся советской империи. Точно так же упоминавшийся чемодан миллионера Корейко или чемоданчик Веночки Ерофеева в повести «Москва — Петушки» — это своего рода знаки эпохи.

Какие-то из этих компонентов значения легко всплывают в ассоциативных экспериментах, а многие запряваны намного глубже и требуют нескольких шагов семантизации. Но такие не прямые, опосредованные другими словами связи тоже суть проявление данной языковой картины мира, лингвокультурного опыта данного социума.

Подробно рассмотренный нами случай показывает нам сложность взаимоотношений между структурой концепта, лексическим значением слова и его употреблением в речи. Именно присутствие в концептуальном поле «чемодан» (пусть на его периферии) смыслового элемента «большой» приводит к появлению у слова *чемодан* переносных значений «толстое лицо» или «артиллерийский снаряд», присутствие элемента «ручка/ без ручки» обуславливает развитие значения «что-то неудобное», присутствие элемента «несамостоятельный» стимулирует развитие значения «молодой человек» и т.д. Нетрудно также показать, что частные, маргинальные, но достаточно массовые, общеизвестные фрагменты культурного опыта подготавливают для русскоязычного сознания появление у слова *чемодан* таких переносных значений, как «серый человек», «старый автомобиль», «неумное существо» и т.п. Получается, что значение слова проходит через «обогадительную фабрику» концепта, заряжается энергетикой последнего и возвращается в лексику в виде иногда совершенно неожиданных вторичных значений.

Однако, как представляется, сила сознания именно в том, что оно способно не просто использовать различные способы моделирования действительности — такие как гештальты (целостные образы), понятия (комбинации существенных признаков), концепты («вербализованные сгустки культуры»), поведенческие образцы (фреймы, сценарии), а также языковые конструкты (модели, схемы, о которых речь еще впереди); оно с легкостью их соотносит друг с другом, объединяет в познавательном процессе. Всё это — объекты когнитивной лингвистики.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ

Когнитивисты признают, что модель языковой картины мира основана преимущественно на данных лексикологии, потому что лексика «отражает те аспекты языка, в которых проявляется творческий потенциал говорящего» (Lange 1985, 30), в то время как грамматические значения не могут выбираться по желанию говорящего: они обусловлены языком и в этом смысле являются обязательными. Но недооценивать роль грамматики в процессе познания не следует. С одной стороны, грамматические единицы и связи хранят «в концентрированном виде» когнитивный опыт предшествующих поколений, а с другой стороны, они позволяют носителю языка упорядочить, привести в систему новую, только что полученную информацию. Именно поэтому роль грамматики, в том числе синтаксиса, в процессе познания заслуживает специального внимания.

Впрочем, следует признать, что вплоть до начала XX в. синтаксис был пасынком грамматики. В то время как морфология самых разных языков уже была хорошо разработана и представлена в виде многочисленных словоизменительных парадигм, синтаксису отводилось скромное место в конце грамматик и учебников. Положение изменилось к середине XX в., когда структурный подход, уже апробированный в фонологии и морфологии, стал завоевывать новые области. Тогда же стало ясно, что синтаксические структуры более непосредственно, чем морфологические, связаны со смыслом. Окончательное понимание данного факта пришло с внедрением в науку уже упомянутого антропоцентрического подхода.

При этом надо отдавать себе отчет в том, что роль синтаксических структур в познавательных процессах обусловлена самим положением синтаксиса в системе языка. Стало уже при-

вычным представлением средства человеческого общения в виде последовательности уровней, в которой каждый ярус структурно опирается на предшествующий. Согласно этой точке зрения, фонемы служат «строительным материалом» для следующего — морфемного уровня (на котором уже появляется значение). Состоящая из морфем лексема наделена способностью номинации. Складывающееся из слов предложение, единица синтаксического яруса, реализует коммуникативную функцию. Такой подход «снизу вверх» наглядно показывает, что единица каждого уровня обладает новым качеством, своей специфической функцией в системе языка. Но он же грешит механицизмом и атомарностью: мы как бы забываем, для чего язык возник и существует. А возник он, конечно, для общения. И потому всю последовательность стоило бы перевернуть с головы на ноги и считать исходной единицей предложение с его коммуникативной функцией. А уже предложение в речи распадается на слова, из тех, при необходимости, выделяются морфемы, а план выражения последних различается своим фонемным составом.

Но есть одна теоретическая загвоздка, мешающая с легкостью принять такой, по сути, синергетический подход: можно ли считать предложение единицей языка? Дело в том, что языковые единицы любого уровня должны храниться в памяти в готовом виде и воспроизводиться в необходимый момент. К фонемам, морфемам, лексемам, фраземам (устойчивым словосочетаниям) это применимо, их можно даже задать списком.

Что же касается предложения, то здесь мнения расходятся. Считать, что предложения заложены в готовом виде в человеческой памяти, конечно, невозможно. Составить список предложений — абсурд! Следовательно, и единицами языка они не являются: они представляют собой речевые образования. В наиболее четком и концентрированном виде эта мысль была высказана известным французским лингвистом Эмилем Бенвенистом на IX Международном съезде лингвистов: «Число предложений бесконечно. <...> Предложение — образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, мир языка как средства общения,

выражением которого является речь» (Бенвенист 1974, 139). Аналогичная точка зрения представлена и в работах некоторых российских ученых: В.А. Звегинцева, В.М. Солнцева и др.

В то же время нетрудно заметить, что многие предложения в нашей речи строятся по одним и тем же образцам. И этому нас учат с детства. Не случайно азбуки начинаются с «серийных» примеров типа: *У Маши машина. У Шуры шары, У осы усы* (это всё один образец); *Мама мыла раму, Маша ела кашу, Луша ждала папу* (второй образец) и т.п. И взрослый человек, даже самой творческой природы, разумеется, использует в своей речевой деятельности готовые грамматические схемы — модели предложений. А современный прозаик-концептуалист Лев Рубинштейн даже иронически обыграл это свойство в специальном произведении, которое так и называется: «Мама мыла раму». Начинается оно так:

1. Мама мыла раму.
2. Папа купил телевизор.
3. Дул ветер.
4. Зою ужалила оса.
5. Саша Смирнов сломал ногу.
6. Боря Никитин разбил голову камнем.
7. Пошел дождь.
8. Брат дразнил брата.
9. Молоко убежало...

Значит, наша речь не столь уж оригинальна и неповторима? П.С. Кузнецов, яркий представитель Московской фонологической школы, писал об этом так: «Говорящий (или пишущий) не творит всё, что он говорит (или пишет), каждый раз заново, а пользуется какими-то элементами, уже знакомыми ему (и его собеседнику или читателю), содержащимися в его памяти, черпает их оттуда и даже комбинирует каждый раз по каким-то уже имеющимся шаблонам» (Кузнецов 1961, 61).

Спрашивается, а как же быть со спонтанной, плохо упорядоченной речью взволнованного человека, в которой представлены и обрывки фраз, и, бывает, случаи контаминации — неправомерного смешения конструкций? На этот вопрос мы находим ответ у замечательного грамматиста В.Г. Адмони: «В бесчисленных

разновидностях своих речевых проявлений высказывание может чрезвычайно далеко отойти от исходной структуры предложения <...> Но всегда, во всех без исключения случаях, если мы остаемся в пределах человеческого языка, обнаруживаются хотя бы отдаленные связи между любыми формами речевого высказывания и типологией предложения в каждом языке» (Адмони 1994, 44). И еще: «Любая фрагментарность, «структурная размытость», грамматическая «алогичность» высказывания позволяют все же найти те грамматически закрепленные структуры, к которым <...> восходят все без исключения своеобразные черты спонтанной разговорной речи...» (Там же, 60).

Борьба указанных двух мнений в лингвистике привела к закономерному результату: к признанию необходимости различать **предложение** как языковую единицу (синтаксическую модель, образец) и **высказывание** (фразу) как речевую единицу, см. подробнее (Норман 1994, 122–125). Оппозиция «предложение — высказывание» укладывается в общую схему противопоставления языковых единиц и их речевых реализаций: «фонема — звук (аллофон)», «морфема — алломорф», «лексема — словоформа (или лексико-семантический вариант слова)»...

Что же следует понимать под синтаксической моделью? Первоначально представление о ней было сильно морфологизованным. В частности, в новаторском для своего времени опыте описания русского синтаксиса в систематизированном виде — в «Грамматике современного русского литературного языка» под ред. Н.Ю. Шведовой — образцы предложений были представлены в таком виде: «Структурная схема $N_1 - Vf$ » (*Ученик пишет, Дети учатся*), «Структурная схема $N_1 - N_1$ » (*Отец учитель, День пасмурный*); «Структурная схема $N_1 - Adv (N_2...)$ » (*Желающие налицо, Деньги кстати*), «Структурная схема $Inf - N_1$ » (*Учиться — главная задача, Летать — его мечта*), «Структурная схема N_{N_1} » (*Ночь, Тишина*), «Структурная схема Vf_{3pl} » (*Стучат, Идут*) и т.д. (Грамматика 1970, 546 и след.). Каждая позиция в составе такой модели характеризовалась как некий морфологический класс. Таких структурных схем простого предложения (не считая фразеологизованных) в книге приводится 40. При этом, в соответствии с трактовкой предикативности как осново-

полагающей категории предложения, состав структурных схем априори ограничивался двумя членами.

Иная концепция была принята в двухтомной «Русской грамматике», составленной коллективом чешских лингвистов (Barnetová et al. 1979). Там тоже выделяется несколько десятков «элементарных синтаксических структур», но за конструктивную основу предложения принимается глагольный предикат. Поэтому односоставные именные высказывания (типа *Осень* или *Новый год*) исключаются из рассмотрения, но зато наряду с одно- и двухкомпонентными моделями допускается существование трех-, четырех-, даже пятикомпонентных структурных образцов. Главный критерий — они должны составлять тот информативный «костяк», минимум, без которого высказывание не может существовать. Очень важно, что здесь делается попытка приписать элементам этих структурных схем некоторые общие значения, такие как «источник действия», «объект — результат действия», «инструмент», «адресат», «локализатор» и т.п.

Очевидно, что говорить о причастности синтаксических моделей к процессу познания можно только в том случае, если эти модели и их составляющие наделены некоторым обобщенным смыслом. В славянском языкознании «осмысление» структурных схем вызревало постепенно, главным образом в работах советских и чехословацких лингвистов — Т.П. Ломтева, В.В. Богданова, Л.Н. Мурзина, Г.А. Золотовой, М.В. Всеволодовой; Ф. Данеша, Р. Мразека, П. Адамца, Р. Зимека, М. Кубика и др. Очень важную роль в становлении «семантического синтаксиса» сыграли работы американских грамматистов — Ч. Филлмора, У.Л. Чейфа, Дж. Лайонза и др. В новейших работах принято разграничивать поверхностный и глубинный синтаксис (это позитивное наследие порождающей грамматики Хомского). Глубинный синтаксис — это как раз и есть система обобщенных структурных образцов, наделенных смыслом, по которым строится бесчисленное множество реальных высказываний. Мы будем называть их синтаксическими моделями (или, чуть в более узком смысле — моделями предложений).

В самом общем плане можно утверждать, что синтаксические модели закономерно отражают объективную действительность.

Что это значит? В ходе речевой деятельности некоторое множество реальных ситуаций обобщается, суммируется и подводится под категорию **типовой ситуации** (см. например: Всеволодова 2000, 121—123). Вот эти стандартные «положения дел» и фиксируются в качестве плана содержания синтаксических моделей. Фактически последние представляют собой результат концептуализации действительности на основе коммуникативного опыта. Скажем, многократно наблюдая процессы говорения, писания, иных видов передачи информации, человек находит в них нечто общее, что закрепляется у него в языковом сознании в виде типовой ситуации: «кто» — «кому» — «что» (или «о чем») сообщает. И эта типовая ситуация воплощается в конкретном синтаксическом образце — модели предложения.

Однако коммуникативный опыт подсказывает нам, что одна и та же референтная ситуация может быть представлена говорящим по-разному в зависимости от «преломляющей призмы» языка.

Допустим, мы стали свидетелями некоторого события. Молодая женщина подняла руку с зажатым в ней небольшим куском ткани примерно до уровня плеч и сделала кистью 1—2 резких движений вверх-вниз. При этом мы не придаем особого внимания ни величине этого куска ткани (это может быть платок, салфетка и т.п.), ни плавности или резкости движения и т.п., но пытаемся соотнести этот зрительный образ с типовыми «положениями дел». В одном случае мы обозначим ситуацию как *Девушка махнула платком*, в другом как *Девушка встряхнула платок*. Понятно, что выбору одного из этих двух вариантов предшествовало соотнесение референтной ситуации не только с предыдущим опытом говорящего, но и с некоторыми общими пресуппозитивными знаниями.

В частности, в первом случае девушка, возможно, стояла на перроне вокзала или на крыльце дома, а в поле нашего зрения мог бы оказаться какой-то другой человек (по отношению к которому взмах платком играл бы роль своеобразного сигнала). Во втором случае девушка, возможно, перед тем что-то ела, расстелив на коленях платок, и в конце трапезы возникла необходимость стряхнуть с платка упавшие крошки. Языковой

знак «живет в среде»! И если в первом случае платок оказывался инструментом (средством) сигнализации, то во втором он — объект действия: «очищения ткани от крошек». Репертуар синтаксических средств практически не оставляет нам возможности истолковать данную ситуацию каким-то третьим или четвертым способом (мы не скажем ни «Девушка потрясла платок», ни «Девушка дала платку свободу движения», ни «Девушка не пожалела платка» и т.п.). Коммуникативный опыт оберегает нас от ненужного знания, от необоснованных гипотез о действительности.

Иными словами, именно возможности синтаксиса диктуют (или подсказывают) нам, **как** «увидеть» ситуацию, помогают понять, что она, собственно, собой представляет. По словам видного немецкого лингвиста Й.Л. Вайсгербера, «схемы предложений во многом заранее определяют тот способ, которым формируется мысль» (Вайсгербер 2004, 76); поэтому он их называет «действенными составными частями языка как культурного достояния».

Прежде всего синтаксическая модель ограничивает событие **количественными** рамками. Из различных (и в принципе бесконечно многообразных) факторов, образующих референтную ситуацию, язык выбирает некоторое, очень немногочисленное количество стандартных «участников ситуации». В широком смысле слова «участник» — это и человек, и предмет (например, платок, которым махнула девушка), и, возможно, место и т.д.

Рассмотрим в этом плане более обстоятельно другой, вполне жизненный пример, в основу которого положена известная русская скороговорка. У некоего человека (назовем его *Клара*) другой человек (допустим, *Карл*) похитил принадлежащую первому вещь (положим, коралловое ожерелье). Он сделал это с целью наживы, планируя затем продать украшение ювелиру. Естественно, кража произошла в определенное время и при определенных обстоятельствах (допустим, во время светского приема или же в спальне наутро, после проведенной совместно ночи). При этом, возможно, имела место излишняя доверчивость или беспечность пострадавшей. Не исключено, что краже способствовали другие люди (скажем, служанка Клары) или

же какие-то случайные факторы (неисправный замочек украшения) и т.п. Всё это, можно сказать, образует фрейм «похищение драгоценности». И из всей этой массы составляющих язык выбирает буквально считанные элементы и предлагает говорящему на выбор следующие образцы с разным набором участников:

- (1) Карл украл у Клары кораллы;
 - (2) У Клары украли кораллы;
 - (3) У Клары пропали кораллы;
 - (4) Карл обокрал Клару;
 - (5) Клару обокрали;
 - (6) Клара лишилась своих украшений;
 - (7) Во время приема (или: наутро) произошла кража;
 - (8) Карл снял с Клары дорогое ожерелье;
 - (9) С сегодняшнего дня кораллов у Клары больше нет;
 - (10) Карл — вор
- и т.п.

В каждом случае те или иные элементы референтной ситуации «усекаются», игнорируются языком, а оставшиеся комбинируются друг с другом по законам синтаксиса. Замечу, что довольно трудно представить себе реальное русское высказывание типа *Во время светского приема во дворце проходимец Карл снял с увлеченной разговором и ничего не подозревавшей Клары растянувшуюся нитку редких кораллов с целью последующей продажи драгоценности знакомому ювелиру*. Такая фраза сразу обращает на себя внимание своей неестественностью, стилистической вычурностью. Но еще невероятней выглядят варианты «Карл украл»; «Карл обокрал»; «У Клары украли»; «У Клары пропали»; «Во время приема произошла», «Карл снял с Клары», «Клара лишилась» и т.п. — язык их просто запрещает!

Это говорит о том, что в ходе порождения высказывания имеют место не только количественные, но и **качественные** ограничения. Синтаксическая модель подразумевает определенное содержание, с определенным набором участников, — в соответствии с замыслом говорящего. Но, получается, сам этот замысел может осуществиться только в рамках заданных языком шаблонов!

Конечно, синтаксические шаблоны, в данном случае модели предложения, «связаны» определенными лексическими обязательствами. Благодаря этому мы легко понимаем, что за названиями *Карл* и *Клара* стоят определенные люди, а под кораллами имеются в виду, скажем, не рифы, а женские украшения... При этом существенно, что каждый из приведенных в наших образцах предикатов (сказуемых) может быть представлен целым рядом (классом) глаголов, например: *Карл украл (стащил, увёл, упёр, свистнул) у Клары кораллы; Карл обокрал (обворовал, обчистил, облапошил) Клару; Клара лишилась (недосчиталась) своих кораллов; У Клары исчезли (пропали, улетучились) ее кораллы* и т.п. Это, с одной стороны, говорит о том, что перед нами — не устойчивые, воспроизводимые сочетания слов, а конструкции, образующиеся непосредственно в ходе речевой деятельности. С другой стороны, это заставляет нас обратить пристальное внимание на роль предиката, который диктует определенный тип синтаксического окружения.

В современной лингвистике за конститутивный, определяющий член синтаксической модели чаще всего принимается предикат (такой как «стрелять», «дарить», «умирать», «быть продавцом», «становиться непослушным», «находиться в таком-то месте» и т.п.). Предикат, в наиболее типичном случае выраженный глаголом, фокусирует в себе основные черты сценария, служащего стандартной формой закрепления познавательного опыта. И, концентрируя в себе суть ситуации, предикат одновременно задает некоторое количество (и качество) позиций «участников ситуации», или актантов, которые должны быть реализованы в высказывании. (Это с одинаковой уверенностью чувствуют и говорящий, и слушающий.) Подобную синтаксическую модель называют **предикатно-актантной** (или, по-другому, предикатно-аргументной) **структурой**.

Теоретические основы такого — «глаголоцентрического» — понимания высказывания были заложены польским ученым Ежи Куриловичем, развиты французским лингвистом Люсьеном Теньером и обогащены падежной грамматикой американца Чарльза Филлмора. Эти концепции принадлежат, правда, к разным лингвистическим школам, но есть многое, что их объединя-

ет. (Ч. Филлмор, кстати, сам признавал свою идейную близость с французским коллегой — см.: Филлмор 1981, 394.) По мысли Л. Теньера, находящийся в структурной вершине фразы глагол выступает как «режиссер», который распределяет роли для остальных участников спектакля. Какому-то слову достается функция субъекта, какому-то — адресата, какому-то — инструмента и т.д.: это зависит от семантики предиката.

Покажем это на простом примере. Глаголы *давать* и *брать/взять* в принципе могут использоваться при описании одного и того же фрейма: «нечто переходит из одних рук в другие». Говорящий выбирает определенную точку зрения и, в соответствии с ней, ту или иную предикатно-актантную структуру. Глаголы вроде *давать* и *брать/взять* не случайно называют конверсивами: они «переворачивают» отношения между участниками события. Можно сказать, что эти участники остаются одними и теми же, только меняются своими ролями (актантными «номерами»), ср. *Петя дал Васе книгу — Вася взял у Пети книгу*. Хотя такое утверждение — это, конечно, некоторое приближение, огрубление: на самом деле *Петя* в первом примере — «субъект», во втором — «источник»; *Вася* в первом случае — «адресат», во втором — «субъект».

Но главное состоит в том, что замена предиката — не просто обмен ролями, механическая рокировка. В специально проведенном эксперименте обнаруживалось, что испытуемые, которым предлагали составить высказывание с глаголом *давать*, заполняли, как правило, все три актантные позиции: «кто», «что», «кому» дает. В то же время в аналогичных опытах с глаголом *взять* большинство испытуемых реализовало только две валентности: «кто» и «что» берет, а «у кого» или «где» — оказывалось несущественным. Исследовательница приходила к выводу, что «глаголы получения имеют тенденцию «забывать» источник получения, тогда как глаголы давания «требуют» информации об адресате (Грудева 2007, 179). Ясно, что эти различия предопределяются уже упомянутым «взглядом» на ситуацию, той синтаксической «рамкой», которую выбирает говорящий. Но они могут получить и когнитивное обоснование. Возможно, психологически мы имеем дело с отражением подспудного

«эгоцентризма собственника»: в ситуации получения сам факт приобретения заслоняет собой источник перемещаемых ценностей (в широком смысле последнего слова), в то время как при «давании» указание на адресата немаловажно (куда уходят ценности?).

Рассмотрим еще на один, сходный, пример. Это ситуация азартной игры и ее языковое отражение. Если говорить о самой игре, то во фреймовой структуре данной ситуации важно, «кто», «во что» и «на что (на какую сумму)» играет, затем, на втором-третьем плане — «с кем»; еще менее важно — «где» или «когда» и т.д. А вот в синтаксической структуре высказывания, образованного конкретным глаголом, допустим, *выигрывать*, на первый план (кроме обозначения действующего лица) выходит «сколько», затем — «у кого», и только потом — «в какую игру» и т.д. Точно так же *проигрывать* — важнее всего «сколько» и «кому» (а «во что» — уже неважно, хотя и этот элемент ситуации может присутствовать в синтаксическом «поле зрения»)... Показательна в этом смысле следующая цитата из повести Андрея Битова «Наш человек в Хиве», в которой на глазах у читателя происходит переоценка важности элементов фрейма:

Тут-то и начинается игра, и тут-то я и проигрываю. **Проигрываю уже не в игру — проигрываю ЕМУ.** Партнеру. Он меня сильнее, что меня и привлекает.

Вообще для когнитивной лингвистики весьма характерны попытки соотнести структуру фрейма с синтаксическим потенциалом языка, с системой моделей предложения (см., в частности: Heringer 1984; Dirven, Verspoor 1998, 81–90; Taylor 2002, 419–427 и др.). Получается, что диффузная, размытая в своих очертаниях структура фрейма, укладываясь в прокрустово ложе синтаксической модели, что-то вынужденно теряет, становится беднее. Вместе с тем она приобретает коммуникативную определенность и эксплицитность: находящийся в вершине предикат открывает определенное количество мест для зависимых членов. В западной лингвистике количество актантных ролей, определяемых характером ситуации, чаще всего ограничивает-

ся тремя, в российской максимальные величины колеблются между 4 и 6. Конечно, определять эти члены через местоименные слова типа «кто», «что», «кому», «где», «куда», «сколько» и т.п., — лишь приближение к смысловой сути актантов. Но и такие обозначения встречаются в работах серьезных синтаксистов (см., например: Попова 2009).

Итак, предикатно-актантные структуры (к описанию которых фактически и сводится глубинный синтаксис языка) — это минимальные, обобщенные и воспроизводимые модели (простого) предложения, по которым строится в речи бесконечное множество высказываний. Содержание модели, ее «пропозициональный компонент» — это, как уже говорилось, типовая ситуация. Прочитав современный учебник по семантике: «Пропозициональный компонент смысла предложения — отображение некоторой ситуации, некоторого фрагмента действительности. Такое отображение осуществляется благодаря тому, что основу пропозиции образует структура, изоморфная структуре ситуации — предикатно-аргументная, или реляционная, структура» (Кобозева 2000, 219).

Если предикат концентрирует в себе суть типовой ситуации, то его «соратники» — актанты, или аргументы, — выступают как носители универсальных семантических функций. Это своего рода концептуальные операторы, позволяющие сознанию упорядочивать действительность и оперировать ею в речевых построениях. В целом предикатно-актантная структура — важнейший инструмент коммуникативной и когнитивной деятельности общества.

Сколько же в языковом сознании присутствует таких обобщенных образцов? Исчислимы ли они? Сформулируем вопрос проще: сколько возможно типов предикатов? (Понятно, что от количества типов предикатов зависит и количество определяемых ими синтаксических моделей.) В самом грубом виде (иногда используемом в методических целях) известно бинарное деление на действия и состояния. Ю.С. Степанов в своих работах возводит список «базовых предикатов» к 10 философским категориям Аристотеля. Это: «сущность»; «количество», «качество», «отношение», «место», «время», «положение», «облада-

ние», «действие» и «претерпевание» (Степанов 1981, 149–160). Однако и эта классификация не удовлетворяет современных исследователей. Ю.Д. Апресян предлагает «фундаментальную семантическую классификацию предикатов», восходящую к классификации Маслова-Вендлера (Апресян [и др.] 2010, 290–291). В ней 17 классов:

- 1) действия (*атаковать, идти, писать*);
- 2) деятельности (*воевать, воспитывать, преподавать*);
- 3) занятия (*гулять, играть, отдыхать*);
- 4) интерпретации (*выручать, грешить, злоупотреблять*);
- 5) поведения (*баловаться, кривляться, скандалить*);
- 6) воздействия (*Река вымыла глубокое русло; Это меня убеждало*);
- 7) процессы (*выздоровливать, извергаться, кипеть*);
- 8) положения в пространстве (*висеть, лежать, сидеть*);
- 9) локализации (*находиться, валяться*);
- 10) состояния (*знать, зудеть, нуждаться, радоваться*);
- 11) отношения (*содержать, отличаться, (быть) похожим*);
- 12) свойства (*заикаться, хромать*);
- 13) проявления (*блестеть, звенеть, горчить*);
- 14) способности (*владеть (шпагой), говорить (по-фински)*);
- 15) параметры (*весить, вмещать, длиться, достигать*);
- 16) существования (*бывать, быть, возникать*);
- 17) события (*происходить, случаться, получаться*).

Подобная дробность деления (чего стоит одно только различие действия, деятельности, занятия и поведения!) отражает, очевидно, не только стремление исследователей к максимально точному, детальному определению ситуации, но и объективную сложность самой языковой картины мира. Каждый из перечисленных семантических типов характеризуется своими формальными признаками; это значит: принадлежность лексемы к тому или иному классу определяет ее многообразные свойства — морфологические, словообразовательные, сочетаемостные и т.д. Для нас же важно то, что каждый класс предикатов являет собой результат познавательной деятельности человека, это итог сведения некоторой суммы референтных ситуаций к ситуации типовой.

Рассмотрим проявление такой концептуализации на одном примере. Представим себе жизненную ситуацию. Человек в обеденное время занят едой. Это тот случай, о котором «Экспериментальный синтаксический словарь» под ред. Л.Г. Бабенко пишет: «Человек дает организму питательные вещества (еду, пищу), необходимые для его нормальной жизнедеятельности, пережевывая и глотая пищу» (РГПЭСС 2002, 240). В качестве иллюстраций данной лексико-семантической группы приводятся глаголы *есть, кушать, жрать, глотать, пробовать, перекусывать, кормиться, лакомиться, наедаться, обедать, ужинать, хлебать* и многие другие. Казалось бы, по своим значениям они все весьма близки! Но вот что интересно: мы ведь спокойно можем по-русски сказать: *Отец обедает*. Или конкретизировать: *Отец ест отварную курицу с картошкой и помидорами*. Однако нельзя сказать: «*Отец обедает курицу*» или «*Отец обедает курицей*» (можно только *Отец ест курицу на обед*, или *У отца на обед курица*, или *Отец питается одними курицами* и т.п.). Впрочем, когда-то, видимо, правила русского языка были иными. В повести Владимира Даля «Колбасники и бородачи» мы встречаем: *В исходе двенадцатого Корюшкин обедал щи, кашу, пирог*. Сейчас бы мы так не сказали.

В чем же здесь дело? Может быть, упомянутый словарь под редакцией Л.Г. Бабенко подходит к глаголам «приема пищи» с неоправданно высоким уровнем обобщения? Дело в том, что сегодня *обедать*, по-русски, значит ‘быть занятым какой-то деятельностью’. Это занятие! (Поэтому вполне естественно выглядят контексты типа *Не мешай отцу, он обедает*.) А *есть* (‘кушать, поглощать пищу’), так же как *жрать, глотать, пробовать* и т.п. — это глаголы, подразумевающие действие, совершающееся над некоторым объектом. «Увидеть» этот объект или, наоборот, вынести его за скобки, поместить в светлое или в теневое поле сознания — суверенное право языка. Этот «произвол» легко обнаруживается при сравнении с другими языками.

Есть народы, для которых не составляет проблемы сказать «я обедаю курицу». Например, по-болгарски нормально выглядят следующие высказывания, образованные с участием глагола *обядвам*: *Бащата обядва тилешко с картофи и домати* ‘отец ест

на обед курицу с картошкой и помидорами'; *Какво ще обядваме днес?* 'что у нас сегодня будет на обед?'; *Той обядва само сух хляб* 'у него на обед только сухой хлеб' и т.п. Значит, нам придется сделать один из двух выводов: либо одна и та же ситуация может получать у разных народов разную концептуальную трактовку, либо — второе возможное решение — русское *обедать* и болгарское *обядвам* при всем своем внешнем подобии не являются семантически эквивалентными.

Еще один показательный пример. Глаголы *улыбаться* и *смеяться* обозначают разные степени проявления состояния «веселости», эмоциональной приподнятости. Каждый из этих предикатов отражает ситуацию, которая воплощается у нас в соответствующем зрительном и звуковом образе «улыбки» и «смеха». Однако стоит только попробовать образовать с этими глаголами высказывание, как мы сразу почувствуем между ними дополнительные различия. У улыбки может быть адресат: *улыбаться можно кому-то* (так же как *подмигивать, махать рукой* и т.п.); улыбка может быть сигналом дружелюбия, благорасположения, приветствия и т.п. У предиката «смеяться» также может быть адресат, и он тоже может выражаться дательным падежом, ср. цитаты:

Я смеюся некоторым и **мужьям**, которые хвалятся везде верностью своих жен, а кажется, что лучше молчать о таких делах, которые находятся в полной жениной власти (М.Д. Чулков. Пригожая повариха...).

— Она у меня любит книги читать, — задумчиво сказал лесник. <...> — **Я смеюсь ей** — кто тебя, Еленка, ученую-то замуж возьмет? (М. Горький. Лето).

В небе гас золотистый пожар,
Я смеялся фонарным огням
(А. Белый. Вечный зов)

Однако для современного словоупотребления такое управление кажется уже архаичным; на его место приходит *смеяться над чем-то*. Таким образом подчеркивается позиция превосход-

ства «смеющегося субъекта» над вторым участником ситуации — объектом отношения, и *смеяться* попадает в одну группу с глаголами *насмехаться*, *иронизировать*, *издеваться*, *измываться* и т.п. Их синтаксическое поведение организуется в соответствии с изначальной метафорой «иерархия» («кто-то ощущает себя выше чего-то»).

Естественно, смена типа подчинительной связи для глагола — длительный процесс. В следующей цитате мы можем наблюдать сосуществование и своего рода конкуренцию типов управления: глагол *смеяться* сначала выступает вообще без объекта (абсолютивно), а затем как *смеяться о чем*, *смеяться над чем*, *смеяться чему*:

Оба они смеялись. Передонов подозрительно посматривал на них. Когда при нем смеялись и он не знал, о чем, он всегда предполагал, что это над ним смеются... Но сам Передонов спросил злым голосом:

— Чему смеетесь? (Ф. Сологуб. Мелкий бес).

Применительно же к современному русскому языку можно сказать, что оппозиция *улыбаться* и *смеяться* уже оформилась: глаголы различаются между собой не столько «степенью веселости», сколько статусными отношениями между участниками ситуации. Семантическая дивергенция получает формальное подтверждение в разных зависимых от глагола формах. Актант, который можно условно обозначить как «кому» при *улыбаться*, и актант «над кем» при *смеяться* — это разные актанты! Это вполне оправдывает современный афоризм, напечатанный в газете «Комсомольская правда»: *Одним удача улыбается, а над другими смеется.*

«Разрастание» классификации предикатов, увеличение количества их типов естественно приводит и к увеличению количества типов актантов. В свое время Ч. Филлмор, разрабатывая основы своей «падежной грамматики», предложил различать минимальное число семантических функций — таких как агентив, инструменталис, датив, фактитив, локатив, объектив (Филлмор 1981, 405—406). Позже их число незначительно выросло. Но это было только начало. Идя по пути детализации

синтаксических смыслов, лингвисты не стали себя ограничивать каким-то количественным пределом. Так, В.В. Богданов, основываясь на сопоставительном материале нескольких европейских языков, выделил 14 семантических функций (Богданов 1977, 52–55). У польского синтаксиста М. Кавки количество аналогичных «аргументов» возрастает до 16 (Kawka 1980, 10–11), у чешского русиста Р. Зимека — до 20 (Zimek 1980, 150–151). При этом каждый автор, естественно, убежден, что его классификация наиболее адекватно отражает структуру синтаксических моделей.

В новейших исследованиях представителей Московской семантической школы приводится «уточненная номенклатура семантических ролей», которая состоит из 53 позиций (Апресян [и др.] 2010, 370–377). Среди них несколько типов агенса, несколько типов пациенса, два типа объекта, контрагент, пользователь, получатель, адресат, каузатор, обладатель и т.д. Классический локатив распадается на место, направление, начальную точку, конечную точку, поверхность-пространство, опору, среду и сферу; наряду с инструментом выделяются способ и средство. Причем, по мысли авторов, каждая семантическая роль отграничивается от другой набором формальных признаков, через который она выражается.

Возникает здесь, впрочем, одна проблема, которая имеет непосредственное отношение к принципам когнитивной лингвистики. Это — **обязательность или факультативность** «участника ситуации». Как уже говорилось, эта проблема малосущественна для фреймового представления ситуации. Скажем, не так важно, присутствует ли во фрейме «вешание картины» такой слот, как «лестница-стремянка»: фрейм достаточно размыт и «мягок» по своей структуре. Но для разработки положений глубинного синтаксиса принципиально важно решить вопрос о силе связи между предикатом и зависимыми компонентами. Это связано с таким признаком синтаксической модели, как минимальность. Синтаксическая модель — довольно жесткая структура, она образуется строго определенным количеством (и качеством) членов. Значит, мы должны решить, участвует ли данный элемент в типовой ситуации, или нет.

В различных концепциях указанная проблема решалась по-разному. В построениях, близких к традиционной грамматике, предлагалось в рамках «второстепенных членов предложения» разграничивать сильное и слабое управление (последнее в таком случае сближалось с примыканием). В грамматике валентностей вводилось деление на облигаторную (обязательную) и факультативную валентность. В теории Л. Теньера все участники глагольного «спектакля» подразделялись на актанты (числом максимум три) и факультативные сирконстанты (при этом граница между третьим актантом и сирконстантами оказывалась нечеткой, неясной, см.: (Теньер 1988, 141–142)). И, конечно, трудности здесь заключались не только в терминологических расхождениях, но и в содержательном определении связей между компонентами предложения/высказывания.

Те же проблемы всплыли при попытках практически реализовать изложенные идеи. В частности, на базе предикатно-актантных структур создавался аннотированный синтаксический корпус чешского языка. Его разработчиками принималось, что в окружение предиката входят «внутренние участники», или актанты (*inner participants*) и «свободные распространители» (*free adverbials*). Первые состоят с глаголом в связи сильного управления, и форма их семантически «пустая», она задается глаголом. Вторые легко присоединяются к любому глаголу, и форма их от этого глагола не зависит — она семантически самодостаточна. Однако скоро выяснилось, что некоторые свободные распространители оказываются обязательными для глагола, семантически им предполагаются. В частности, чешская исследовательница Ярмила Паневова выделяет три типа таких «квазивалентных модификаторов»: Препятствие (*Obstacle*), Посредник (*Mediator*) и Различительный признак (*Difference*): они управляются как актанты, но при этом семантически ясны и самостоятельны как свободные распространители. Это касается чешских примеров типа *Jan zakopl nohou o stůl* 'Ян зацепил ногой за стул'; *Jan přivedl psa za obojek* 'Ян привел собаку [держа ее] за ошейник'; *Náš tým zvítězil o dvě branky* 'наша команда выиграла [с разницей] в два гола' (Panevová 2003, 143–144).

В качестве средства решения данной проблемы некоторые лингвисты предлагали различать валентность синтаксическую и семантическую. Скажем, глагол *уехать* предполагает наличие четырех «участников ситуации»: «кто?», «куда?», «откуда?» и «на чем?»; это его семантическое окружение. Однако в речи сплошь и рядом коммуникативно достаточными оказываются высказывания с одной или двумя реализованными валентностями, типа *Петя уехал* или *Петя уехал в Москву*. Это синтаксическая реальность. Таким образом, «участники» ситуации, описываемой в высказывании, вовсе не обязательно должны находить свое выражение в формальных связях глагола. Сама эта мысль высказывалась еще А.А. Холодовичем при разработке теории залога. Он же приводил ставший уже классическим пример лексики с несоответствием наборов семантических и синтаксических актантов: русское *промахнуться*. Ситуация «промахивания», по мнению автора, включает в себя в русскоязычном сознании четыре семантических участника: агенс (*кто промахивается*), объект, или цель (*во что*), инструмент (*из чего*) и средство (*чем*). А в тексте оказывается достаточно одного только агенса: *Я промахнулся* (Холодович 1979, 278). По-видимому, решение данной проблемы возможно только с учетом статистических данных, что становится вполне допустимым при сегодняшнем состоянии корпусной лингвистики (Н.В. Перцов).

«Направляющая» роль синтаксических моделей обнаруживается отчетливо при сопоставлении материала разных языков. Мы уже касались этой проблемы при описании конкретной ситуации «обеда», но тут рассмотрим ее подробнее на материале русского и польского языков. Для специалиста такое сопоставление позволяет глубже познать природу родного языка.

Начнем с того, что разные языки могут находить в одной и той же референтной ситуации разное количество участников. Так, если человек испытывает чувство досады или раздражения из-за того, что кто-то обладает тем, чем он сам хотел бы обладать, это называется *завидовать*. Ситуация «завидования» требует по-русски уточнения двумя распространителями: *кто завидует и кому/чему завидует*. Ср. примеры: *Он ему завидует; Он зави-*

дует его славе; Он завидует тому, что у соседа молодая жена и т.п.

В польском же языке глагол *zazdrościć*, эквивалент русского *завидовать*, нормально требует трех распространителей: *kto zazdrości, komu, czego*. Польский словарь под редакцией М. Шимчака (SJP 1998) дает примеры: *Zazdrościć komuś powodzenia, sławy, sukcesów. Zazdrościć komuś pieniędzy, majątku*. На русский язык эти примеры можно было бы перевести примерно как ‘завидовать кому-то в том, что ему везет, что он известный, успешный’ или ‘завидовать кому-то из-за денег, имущества’. Это значит, что «контрагент зависти» (объект отношения) и повод для этого чувства трактуются носителями польского языка в качестве различных, отдельных участников ситуации!

Но вообще-то для славянских языков, генетически близких и обслуживающих сходные культуры, найти подобные примеры нелегко. Расхождения в представлении одной и той же референтной ситуации обнаруживаются здесь не столько в количестве и качестве участников ситуации, сколько в том порядке, в котором предикат диктует их появление на «сцене» и, соответственно, в степени их обязательности. Естественно, речь, как правило, идет о сравнительно сложных, многокомпонентных ситуациях типа «кто-то заступает за кого-то перед кем-то» (а возможно, еще и «по поводу чего-то»), «кто-то упрекает кого-то за что-то» (или «ставит что-то в вину кому-то»), «кто-то ссорится с кем-то из-за чего-то», «кто-то препятствует (мешает) кому-то в чем-то», «кто-то предпочитает кому-то кого-то» (а возможно, еще и «в отношении чего-то»), «кто-то поздравляет кого-то с чем-то» и т.п.

Еще один пример. Складывается впечатление, что в польском языке ситуация ссоры значительно чаще требует распространителя со значением «причина», чем та же ситуация в русском. Так, словарь (SSGCzP 1980 – 1992) приводит в качестве иллюстративного материала к глаголу *kłócić się* ‘ссориться, ругаться’ следующие примеры: *Antonia kłóciła się z matką o młodsze rodzeństwo / o psa / o nową sukienkę / o sprawy rodzinne* ‘Антония ругалась с матерью по поводу своих младших братьев и сестер / по поводу собаки / из-за нового платья / насчет семейных дел’.

Piotr kłócił się z kolegami o to, że chciał być przywódcą w każdej zabawie / o to, w co będą się bawić 'Петр ссорился с коллегами из-за того, что хотел быть заводилой в каждой игре / во что они будут играть'. Dlaczego kłócimy się o każdy drobiazg 'чего мы ссоримся из-за каждой мелочи'. Wciąż się (ze sobą) kłócimy (o to, kto pójdzie pierwszy) 'мы все еще спорим (кто пойдет первым)'.

В окружении русского глагола *ссориться* указание на причину встречается реже. В частности, «Словарь сочетаемости современного русского языка» (СССРЯ 1983) дает для *ссориться* контекст *ссориться с кем*, а затем, в общем ряду, — *из-за кого-чего, где, как часто, как...* В «Экспериментальном синтаксическом словаре» *ссориться* фигурирует в двух местах, но оба раза только с распространителем *с кем* (см.: РГПЭСС 2002). Возможно, аналогичные различия могут быть обнаружены при сопоставлении сочетаемости и других глаголов: пол. *oburzać się* и рус. *возмущаться*, пол. *rozpaczać* и рус. *отчаиваться*, пол. *parażać się* и рус. *рисковать*, пол. *gryźć* и рус. *кусать* и т.п. (ср.: Важник 2008, 262—362).

Очевидно, мы опять упираемся здесь в проблему концептуализации (по-другому — языковой категоризации) семантики. Перед языком всегда стоит перспектива определенным образом упорядочить бескрайнее семантическое пространство, выбрать из него некоторые фрагменты и представить их системным образом. Это, в частности, может быть «статическое» или «динамическое» изображение ситуации, результативность или нерезультативность действия, расчленимый или нерасчленимый (собираТЕЛЬНЫЙ) характер множества, раздельное или объединенное понимание места и направления, инструмента и посредника и т.п. Каждый язык выбирает из этого набора определенные семантические «узлы», закрепляет их в узусе и стремится представить как безальтернативные.

Когда человек сталкивается с какими-то новыми для себя жизненными коллизиями, он, естественно, старается подогнать их под уже знакомые образцы. В прошлой главе мы подробно останавливались на концепте «чемодан» и структуре лексического значения соответствующего слова. Но представим себе ситуацию виртуальную, просто фантастическую: чемодан, вы-

ставленный на витрине магазина, приобрел свойства человека, так сказать, стал личностью. Как изменились бы его качества и какое отражение это нашло бы в речи?

Ответ на эти вопросы можно найти в работе знаменитого немецко-американского философа Эриха Фромма:

Каждый чемодан постарался бы выглядеть как можно «привлекательней» и как можно дороже, чем его соперники, чтобы получить более высокую цену. Чемодан, проданный по самой дорогой цене, будет ликовать, потому что для него это будет означать, что он оказался самым «стоящим». А непроданный чемодан будет грустным и печальным и страдающим от сознания своей никчемности. Такая же печальная участь может постигнуть и любой чемодан, который хоть и прекрасно выглядит и полезен, но вышел из моды» (Фромм 1993: 67).

Любопытно, что, по-видимому, совершенно независимо от Э. Фромма, охарактеризовать обрисованную выше фантастическую ситуацию попробовал замечательный русский филолог М.Л. Гаспаров. Он писал:

...Я был частью домашнего обихода, вроде чемодана, и на меня сердились, когда я позволял себе больше, чем положено чемодану. Может быть, я и сейчас чувствую себя чемоданом, от которого кто-то ждет научных работ, кто-то любви, кто-то помощи? <...> А чего хочет сам чемодан, сам камень? Только чтобы его оставили в покое, а лучше решили ему не существовать... («Записи и выписки»).

В этих откровенных размышлениях самое удивительное — не то, что чемодан оказывается вполне «концептуальным» предметом, достойным внимания ученых, а то, что в «переживаниях» чемодана для исследователей не нашлось ничего нового: они распространили на них собственный жизненный опыт! Багаж когнитивных и коммуникативных образцов, накопленный обществом, весьма инертен: без особой нужды человек не склонен его менять.

А теперь возьмем ситуацию вполне реальную. В самом конце XX в. распался Советский Союз, и на огромном пространстве

произошли кардинальные политические изменения. Изменения произошли и в русскоязычном сознании. В частности, существенным образом изменился концепт «выборы (в государственные органы)». Ранее этот концепт был насквозь пропитан духом тоталитаризма, и соответствующий фрейм основывался, по сути, на модели «одобрение». В него входили элементы «блок коммунистов и беспартийных», «всемирная поддержка», «агитатор», «Совет народных депутатов», «все на выборы» (призыв) и т.п. С переходом России к демократическому устройству произошел рефрейминг, пересмотр структуры данного фрейма. Многие старые элементы отсюда ушли, зато появились новые слоты: «оппозиционные партии», «независимый кандидат», «электорат», «предвыборная программа», «теледебаты», «экзит-пул», «независимые наблюдатели», «правительство народного доверия», «грязные выборы», «вброс бюллетеней», «против всех» и др. По сути, базовой моделью для «выборов» стала «борьба, соперничество». При этом активизируются синтаксические образцы типа «кто-то побеждает кого-то», «кто-то уступает кому-то», «у кого-то подавляющее (или: незначительное) преимущество», «кто-то не перешагнул какой-то барьер» и т.п. В советскую эпоху при описании выборов все эти конструкции, естественно, не использовались.

Изменения же в концепте «власть» связываются нынче прежде всего с децентрализацией управления, ср. выражения вроде *правительство Москвы* или *министр образования Кемеровской области*. Другое заметное отличие — это ориентация власти (по крайней мере, словесная) на опыт западных демократий. Показательны в данном плане названия типа *президент, парламент, департамент, префектура, сенаторы, спикер, омбудсмен, инаугурация, брифинг, полиция* (вместо *милиция*, в современной российской действительности), *мэр* и т.п. Здесь мы также наблюдаем сдвиги в грамматической сочетаемости, ср. прежнее *прийти к власти* и сравнительно новое *прийти во власть* (где *власть* понимается как некая замкнутая сфера). Само сочетание *властные структуры* — недавнее; в прошлом веке «властный» можно было сказать только о взгляде, голосе, характере...

Систематизируя синтаксические модели, исследователи прибегают к разному уровню обобщения фактического материала, поэтому неудивительно, что количество выделяемых в одном и том же языке образцов от случая к случаю различается. Но понятно, что какое бы количество структурных схем, предикатно-актантных структур или иных образований мы ни выделяли, каждой из них должен соответствовать свой тип пропозиционального содержания — типовая ситуация. Иногда ее называют еще синтаксическим смыслом (М.Ю. Федосюк) или синтаксическим концептом (З.Д. Попова). Она — центральный объект изучения семантического синтаксиса.

Таким образом, мы могли убедиться: язык, и в том числе его модели предложения, аккумулирует в себе опыт предшествующих поколений и «навязывает» его ныне живущим людям. Это многообразные сведения об устройстве мира, о концептуализации времени и пространства, о свойствах предметов, об отношениях между людьми и т.п. Со временем, разумеется, данные представления могут меняться, но в целом они весьма стабильны. Синтаксис, образно говоря, — это рельсы, по которым движется поезд познания.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Уровни языковой системы взаимодействуют в процессах речевой деятельности, в том числе и при осуществлении языком познавательной функции. При этом прерогативой синтаксических единиц является первичное опознание референтной ситуации и соотнесение ее с одним из типовых «положений дел», уже хранящихся в человеческой памяти. Таким образом происходит своеобразная подгонка бесконечно многоликой действительности под более или менее исчислимые коммуникативные образцы. Об этом уже шла речь в предыдущей главе. Можно добавить только цитату из классика европейского языкознания Карла Бюлера (1879—1963), который еще в начале XX в. экспериментальным путем пытался выяснить, какое место в речевой деятельности говорящего занимает поиск и выбор синтаксической модели. Он предлагал испытуемым нетрудные для понимания афоризмы и просил интерпретировать (пересказать) их содержание. Оказалось, что в этих пересказах «та или иная целиком или отчасти **пустая синтаксическая схема** предшествовала самой формулировке ответа и, видимо, как-то ощутимо на практике управляла речью» (Бюлер 1993, 231). Позже психолингвисты многократно пытались проверить данную гипотезу и приходили к выводу, что если синтаксическая схема и «пустая», то не потому, что она вообще лишена смысла, а потому, что еще не заполнена конкретной лексикой. Это объясняет и тот интерес, который проявляется к синтаксису в когнитивных исследованиях.

Однако взаимодействие единиц синтаксического уровня с единицами иных уровней, прежде всего лексического, заслуживает особого внимания. Направление семантического синтаксиса с самого момента своего возникновения вынуждено было учитывать лексическое значение тех слов, которые воплощали в себе

ту или иную актантную роль. Несвободна от этого оказалось и падежная грамматика Ч. Филлмора. В частности, при описании ролей агентива, датива, инструменталиса и других он использовал сему «одушевленность / неодушевленность» (входящую в лексическое значение слов). У В.В. Богданова к этому условию прибавляются и другие, более конкретные, признаки: «название, прозвище или кличка» (ономасиатив), «материал, вещество, содержание» (композиатив) и т.д.; у М.В. Всеволодовой — «орудие, с показаниями которого сверяются параметры действия» (контроллер) и т.д. А Г.А. Золотова прямо пишет: «Разные группы существительных по-разному проявляют себя в синтаксисе, и это зависит прежде всего от их значения» (Золотова 1982, 123).

Значит ли это, что смысл синтаксической модели, содержание предикатно-актантной схемы невозможно описать в отрыве от лексических значений слов, заполняющих эти позиции? Нет, это не так.

Синтаксические концепты самодостаточны, просто их трудно описать в силу присущего им абстрактного характера. Но суть их — общая оценка референтной ситуации через соотнесение ее с определенным типом предиката и приданным ему набором актантов. Выбирая синтаксический образец для своего высказывания, говорящий производит «рекогносцировку» действительности, вносит в нее известный ему порядок и расстановку сил. В этом смысле говорящий здесь — хозяин положения. Как подчеркивает болгарский ученый Максим Стаменов, «именно синтаксис благодаря автономности своего функционирования и собственным принципам обработки информации гарантирует свободную манипуляцию субъектами, объектами, косвенными объектами и т.д. независимо и от их лексического значения, и от их возможных и/или актуальных референтов в реальном мире» (Стаменов 2006, 48).

Ясно, что лексика сама по себе неспособна отразить все многообразие реальной действительности. Люди, предметы, вообще — сущности вступают друг с другом в различные отношения, поворачиваются к человеку своими разными сторонами. И миссия грамматики — обозначить, передать это разнообразие. «Грамматика — это концептуализация», говоря словами Р. Лан-

гаккера. Напомним, что еще в середине XX в. учеными проводились эксперименты с русскими деграмматикализованными текстами (в Советском Союзе это были, в частности, работы Б.С. Рогового). Студентам предлагались реальные высказывания, из которых предварительно были удалены грамматические показатели (словоизменительные морфемы, служебные слова), а оставшиеся лексические единицы давались в алфавитном порядке. Испытуемые должны были восстановить исходный текст. Оказалось, что сделать это чрезвычайно трудно. Впрочем, если (в другой серии эксперимента) в деграмматикализованных высказываниях порядок слов сохранялся, то показатель смыслового восстановления резко возрастал. Порядок слов — сильное средство выражения синтаксических отношений!

Самый простой путь продемонстрировать автономность синтаксических и лексических значений — это привести примеры «перевертышей» типа *Охотник убил медведя — Охотника убил медведь*. Лексика здесь использована одна и та же, и синтаксическая модель — одна и та же («кто-то убил кого-то»), но связаны они друг с другом по-разному, и это отражает коренным образом изменившуюся референтную ситуацию!

В филологии выражение «синтаксический перевертыш» — термин, у которого есть синоним греческого происхождения: **хиазм** (о семиотической природе этого приема см.: Береговская 2004, 23—59). О хиазме стоит поговорить подробнее. В наиболее типичном случае данная фигура представляет собой «косой крест», в форме которого — на протяжении обозримого отрезка текста, чаще всего одного предложения, — две лексемы обмениваются своими синтаксическими позициями. Впрочем, с меньшим правом можно утверждать, что это две синтаксические позиции обмениваются «принадлежащими» им лексемами. Эффект хиазма как стилистической фигуры основан на неожиданности, с которой второе, «деструктивное» предложение противопоставляется предыдущим фразам, «отвечающим общему коммуникативному заданию текста» (О.А. Крылова). Примеры хиазма, в том числе на материале русского языка, хорошо известны и многократно описаны. Ограничимся здесь несколькими экземплярами из собрания В. Даля «Пословицы

русского народа»: *Молодец против овец, а против молодца и сам овца; Не по хорошу мил, а по милу хорош; Рад дурак, что пирог велик; рад пирог, что у дурака рот велик. Не ноги кормят брюхо, а брюхо — ноги* и т.п. Мы видим, что именно синтаксис (и его «подручные средства» — морфологические и позиционные) устанавливает здесь **порядок вещей**, придает хаосу вид референтной ситуации.

В то же время случается, что при соблюдении формального тождества слова, переносимого в иную позицию, его смысловое наполнение коренным образом меняется — в таком случае хиастическая перестановка фактически включает в себя разные слова, как в примерах: *Эля выслушала и ответила, что медицина должна быть платной. Лечиться даром — это даром лечиться* (В. Токарева. Хэппи-энд; здесь первое *даром* — это ‘бесплатно’, а второе *даром* — ‘напрасно’); *Книга так захватила его, что он захватил книгу* (Э. Кроткий. Отрывки из ненаписанного; здесь первое *захватить* — это ‘заинтересовать’, а второе — ‘украсть, присвоить’). Но от таких «осложненных» случаев хиазма мы сейчас отвлекаемся.

Иерархическое устройство языковой системы поддерживается тем фактом, что между единицами соседних языковых уровней существуют как бы встречные обязательства, своего рода взаимные предпочтения. Это касается в том числе отношений лексики и синтаксиса. Разумеется, взаимные обязательства носят здесь нежесткий, вероятностный характер. Но они существуют. Г.А. Золотова (Золотова 1992) назвала такую оптимальную ситуацию **изосемией**: это когда смысл синтаксической позиции (семантическая роль) в точности соответствует лексической семантике слова, эту позицию заполняющего. Так, в роли субъекта действия (синтаксическая категория) легче всего себе представить название человека (соответствующая лексико-семантическая группа): *Петя, сосед, лейтенант...* Точно так же в роли локатива (синтаксическая категория) естественно выглядит название предмета, служащего пространственным ориентиром (*лес, город, шкаф...*), для роли инструмента лучше всего подходит существительное с предметно-орудийной семантикой (*топор, игла, карандаш...*)

и т.д. В такой внутренней согласованности закреплён познавательный опыт этноса.

Если же данные взаимные обязательства нарушаются — скажем, если в позиции субъекта действия выступает название неодушевленного предмета, — то это, как правило, знак определенных преобразований фразы, уже произведенных в сознании говорящего. Такие случаи нередки, но они требуют от слушателя (читателя) дополнительной работы ума. Н.Д. Арутюнова писала о подобных ситуациях: «Смысловая недостаточность слова или словосочетания, «информативный голод», возникающий при его употреблении, свидетельствует о том, что оно занимает место, предназначенное для единиц принципиально иного семантического типа» (Арутюнова 1976, 123). Рассмотрим следующие цитаты из русской литературы: *Он припомнил все, что он вынес, и зеленое платье... странное зеленое платье, которое бросило в окно выпавший из рук его нож...* (Н.С. Лесков. На ножах); *Ночь проворчала что-то сердитое и отошла* (Ф. Сологуб. Мелкий бес); *Колымага полезла по карманам, сумкам и бумажникам* (А. Арканов. Экскурсия на Синее озеро). Анимизация, «одушевление» существительных *платье, ночь, колымага* в приведенных контекстах — это результат метафорических или метонимических сдвигов в значениях слов (в частности, *зеленое платье* здесь это ‘женщина в зеленом платье’, *ночь* — ‘дама, наряженная на карнавале в костюм ночи’, *колымага* — ‘пассажиры автобуса, ветхого, как колымага’ и т.п.).

Изосемия синтаксических и лексических значений — важнейшее условие нормального функционирования механизма речевой деятельности. В абсолютном большинстве случаев человек следует этому неписаному правилу. Правда, синтаксических ролей принято выделять, как мы видели, несколько десятков, а количество лексико-семантических классов может исчисляться сотнями, но это скорее вопрос уровня обобщения (его классификационного порога). В принципе те и другие сводимы друг к другу, хотя синтаксические смыслы имеют более общий характер, чем лексические группировки, это понятно. И если носитель языка встречает, скажем, в тексте стихотворения Владимира Сололова такие строки:

А музыку я оставлял **на потом**,
На позднюю молодость в доме пустом,
На позднюю молодость, **на иногда**,
Где многое выключено навсегда
(«А музыку я оставлял на потом...»),

то для него не составляет труда должным образом воспринять наречные словоформы *потом* и *иногда*: он их трактует, так сказать, как окказиональные существительные с темпоральным значением.

Точно так же если позиция субъекта (действия, поведения, передвижения и т.д.) занята в высказывании существительным с конкретно-предметным значением, читатель или слушатель легко придает этому предмету черты живого существа, ср. однотипные примеры: *Город уехал* (В. Набоков. Король, дама, валет); *Кровь молчала* (Л. Улицкая. Веселые похороны); *Спит судно* (В. Конецкий. Среди мифов и рифов); *Письмо работало* (Л. Яновская. Записки о Михаиле Булгакове). Эти высказывания вроде бы о разном, но когнитивный механизм сработал везде одинаково: говорящий «посмотрел» на вещь как на человека.

К изосемии/неизосемии лексических и синтаксических значений мы еще вернемся. А пока обратим внимание на то, что слову свойственно развиваться, принимать в речи переносные значения. И вот эта относительная размытость семантики слова делает упомянутые выше обязательства по отношению к синтаксической роли чрезвычайно «мягкими» и условными. Легче всего показать это на материале «мертвых», или стершихся, метафор, вроде *Волка ноги кормят*, *Ботинки просят каши*, *Тюрьма по тебе плачет*, *Посуда любит чистоту* и т.п.

Но это опять-таки повод вспомнить о роли синтаксических перевертышей. Рекомендации изосемии как будто не существуют для хиазма. Вместо исходного в сознании оборота «Пушкин видел стены этого дома» в речи появляется фраза *Стены этого дома видели Пушкина*, вместо «Герой нашел свою награду» — *Награда нашла своего героя* и т.п. Как выразился поэт Юрий Казарин, «метафора, растворенная в синтаксисе, становится незаметной». Это значит, что существующие в сознании носителя

языка синтаксические позиции заполняются в данных случаях нетипичной лексикой, и читатель или слушатель должен найти какой-то выход из этого противоречия. Свидетельств тому множество, ср. примеры: *Хвост вертит собакой* (пословица; имеется в виду ситуация, в которой подчиненный управляет начальником, решает за него какие-то вопросы); *Овцы съели людей* (крылатое выражение о последствиях индустриальной революции в Англии, когда разведение овец и расширение пастбищ привело к вытеснению крестьян-арендаторов); *Писателя делает скандал* (Д. Донцова. Гадюка в сиропе); *Уши машут ослом* (М. Шишкин. Венерин волос). Несомненно, что данные высказывания возникают на мысленном фоне первичных и более естественных *Собака вертит хвостом, Люди съели овец, Писатель делает (устраивает) скандал, Осел машет ушами*. Можно сказать, что в случаях типа *Хвост вертит собакой* мы имеем дело со свернутым, или скрытым, хиазмом.

Таким образом, перевертывание грамматических отношений оказывается **концептуально значимым**, оно воплощает в себе для носителя языка иной «взгляд на мир», иную философию. Рассмотрим еще один характерный пример. Контекст типа «У кого-то родился кто-то» требует подстановки лексем из определенных лексико-семантических групп: первое «кто-то» — представитель старшего поколения, «родитель»; второе «кто-то» — представитель младшего поколения, «ребенок». В этом смысле высказывание *У отца родился сын* соответствует привычной логике вещей и, можно сказать, довольно тривиально. А вот фразы *У сына родился отец. У внука рождается дед* (А. Битов. Пушкинский дом) необычны; мысль читателя должна найти им какое-то оправдание! И читатель старается это сделать. В конкретном случае это означает: ‘сын (или внук) пытается найти и понять своих предков’...

Установлено, что если слово употребляется в непривычном для себя окружении, то его лексическое значение вынужденно подстраивается под более общий (синтаксический) смысл всей конструкции. Лексика подчиняется синтаксису, а не наоборот! Кроме уже приводившихся цитат вроде *Письмо работало*, можно вспомнить в данной связи известный английский пример

У.Л. Чейфа: *The chair laughed* 'стул смеялся'. Если нам нужно каким-то образом семантизировать это искусственное высказывание, то ничего не остается делать, кроме как подвести его под типовую ситуацию «поведение субъекта» (а слово *chair* окказионально анимизировать). Именно так мы поступаем, например, читая у М. Горького реальную фразу: *Море — смеялось* (рассказ «Мальва»). Поэтому совершенно справедливым выглядит следующий вывод: «Преодоление несовместимости грамматических и лексических значений приводит обычно к победе грамматики над лексикой, в результате чего возникает грамматическая или грамматико-лексическая метафора в синтаксисе и коннотация в морфологии. Подобные полуотмеченные образования расшатывают норму» (Шендельс 1982, 81). Таким образом, через создание (моделирование) виртуальных ситуаций происходит обогащение концептуального инструментария и расширение горизонтов познания.

Проблемы соотнесенности действительности и ее языкового отражения волновали представителей самых разных лингвистических направлений — от трансформационной грамматики 60-х годов до современной когнитивной семантики. Так, А. Хилл в своей полемике с Н. Хомским размышлял над степенью отмеченности (правильности) английских высказываний типа *John plays golf — Golf is played by John, Golf plays John — John is played by golf* (Хилл 1962, 106–107 и др.). Казалось бы, «жонглирование» одними и теми же словами находится здесь в рамках грамматических правил, но оно входит в противоречие с жизненным опытом: что бы могло значить «гольф играет Джоном», «Джон играем гольфом»? А когнитивист Л. Талми, рассматривая случаи «семантических конфликтов» между лексическим и грамматическим значениями в рамках предложения, однозначно решает вопрос в пользу грамматики — потому что «именно форма закрытого (т.е. грамматического. — Б.Н.) класса определяет конечную концептуальную структуру» (Талми 1999, 109).

Хиазм — не только доказательство независимости выбора лексических единиц от выбора синтаксических конструкций и морфологических форм, он — часть общего механизма речеорождения, заложенного в сознании носителя языка. Об этом

свидетельствует, с одной стороны, эстетическое удовлетворение рядового читателя при столкновении с примерами синтаксического перевертыша, а с другой — его активное участие в создании подобных конструкций. Не случайно хиазм весьма распространен в малых фольклорных жанрах — таких как пословицы, скороговорки, анекдоты. В частности, свернутый хиазм составляет основу популярных в народе потешек вроде *Ехала деревня мимо мужика, глядь — из-под собаки лают ворота...* и т.п. — это наглядное доказательство естественности данного приема.

С появлением сети Интернет стихийное (особенно молодежное) литературное творчество стало поистине массовым, и примеры синтаксических перевертышей занимают здесь — в собраниях шуточных афоризмов — достойное место. Приведем оттуда несколько иллюстраций: *Почему аппетит приходит во время еды, а еда во время аппетита не приходит? Идея хороша, да грех велик. Грех велик, но идея хороша. Парадокс: люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться. Лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Счастье есть, но есть — вот несчастье. Женщины, мужайтесь! Мужчины, женитесь!*

Фигурально выражаясь, хиазм есть торжество трансформаций в грамматике носителя языка. Обычный человек вдруг осознает, что ему вполне доступно самостоятельное словесное творчество! Мотивация данного приема проста: главное — оттолкнуться от уже сказанного. Но подсознательно говорящий видит в хиазме залог речевой свободы, доказательство своей независимости от заложенного в языке общественного опыта. Он действует примерно по принципу: вот все говорят: «Аппетит приходит во время еды», а я возьму и скажу: «Пусть еда приходит во время аппетита!» Все говорят: «Не делайте из мухи слона», а я возьму да скажу: «Не делайте из слона муху!» Чем это не творчество? Оказывается, с помощью такого простого («дешевого») способа можно достичь немедленного и действенного результата: создания парадоксального смысла! Механическая, в общем-то, перестройка уже готовой фразы приводит к полному обновлению представленной картины мира.

Но механическим перевертыванием синтаксических отношений суть хиазма не исчерпывается. Мы уделяем этому приему столько внимания, потому что дальний его результат — расшатывание канонов лексико-синтаксической изосемии и связанная с этим языковая рефлексия носителя языка. Перевертыш играет в данном плане существенную роль: он экстраполирует, распространяет действие уже отработанных, испытанных синтаксических моделей на не свойственные им лексические классы. Иными словами, через «захват» новой лексики хиазм расшатывает границы единиц, уже заданных в сознании говорящего и слушающего, приучает того и другого к более мягкой, более размытой трактовке синтаксических позиций и скрывающихся за ними актантов.

Действительно, по-русски, хотя и с некоторой натяжкой, но можно сказать: *Я люблю обед*. А можно ли сказать *Обед любит меня*? В принципе такой факт речи не исключен — он может встретиться, например, в художественном контексте (ср. у Дмитрия Пригова: *Допустим, я люблю собой, своим обедом и женой*). Но допустить возможность (приемлемость) фразы *Обед любит меня* с точки зрения русского языка — значит, по крайней мере, вложить некоторое особое значение в слово *любить*, а может быть, и вообще пересмотреть отношения, существующие между понятиями «я» и «обед»... Поэтому, когда мы читаем, скажем, в романе Владимира Набокова «Король, дама, валет» такие пассажи, как: *Я люблю холод, но он меня не любит; Странное дело: вещи не любили Франца* или у Юрия Олеши в «Зависти»: *Меня не любят вещи. Переулок болеет мною*, то понимаем, что говорящий как бы отвлекается от реального мира и пытается создать свою виртуальную реальность — «наоборотный» мир. Можно увидеть здесь анимизацию элементов среды, окружающей героев, а можно считать, что изменилось функциональное соотношение субъекта и второго участника ситуации... Но в любом случае этот смысловой сдвиг возник благодаря механике синтаксического переноса.

Получается, что процедура хиазма, по-своему испытывая синтаксическую модель на прочность, одновременно разбалтывает сложившиеся когнитивные стандарты (стереотипы).

Языковая игра тем самым не только влияет на способ познания действительности, но и фактически участвует в формировании языковой картины мира, в процессе отражения действительности в языке (см. подробнее: Норман 2010, 190–198). Уместно привести здесь также цитату из статьи Л.В. Щербы: «...Наш литературный язык часто заставляет нас отливать наши мысли в формы, им заранее заготовленные, <...> он иногда шаблонизирует нашу мысль; но дальше оказывается, что он же дает материал для преодоления этих форм, для движения вперед» (Щерба 1957, 113).

Но, в конечном счете, не будем переоценивать роль хиазма: это лишь частный случай перестройки синтаксической структуры в сознании говорящего. И связь между лексическими и синтаксическими значениями реализуется не только в масштабах всей синтаксической модели, но и применительно к отдельным ее элементам — синтаксическим позициям, носителям актантных ролей. Более того, она действует и применительно к сирконстантам — тем распространителям, которыми предикатно-актантная структура обрастает в речи. И это требует одного терминологического уточнения.

До сих пор, говоря о синтаксических моделях, мы имели в виду исключительно модели предложения (они характеризовались в терминах уже знакомых нам предикатно-актантных структур). Но в принципе моделированию подлежат и другие синтаксические феномены: словосочетания, связи между словами, сложные предложения... Поэтому термин «синтаксическая модель» на самом деле оказывается шире, чем «модель предложения».

В частности, когнитивной ценностью обладают также правила, по которым образуются словосочетания. В структуре высказывания эти правила служат тому, чтобы обогатить предикатно-актантную структуру различного рода распространителями (о них еще будет речь далее) и полнее реализовать семантику отдельных слов.

Выдающийся русский лингвист М.В. Панов писал, что синтаксическая сочетаемость слова может быть средством, позволяющим узнать, **как** язык «видит мир»; образно говоря, «язык

знает, из чего состоит шкаф». Обратимся к его «Позиционной морфологии русского языка»:

«*Шкаф* состоит вот из чего: стенки шкафа, дверцы шкафа, полки шкафа, ящики шкафа, замок шкафа... Перечислены части шкафа: это определяет возможность сочетания перечисленных оборотов с родительным падежом *шкафа*. А ключи? Казалось бы, если замок рассматривается как часть шкафа, то и ключи... Но нет: *ключи от шкафа*. Не *ключи шкафа*. Наш критерий говорит, что языковая традиция (живая, современная традиция) показывает: невозможно в нормативной речи словосочетание *ключи шкафа*, т.е. то словосочетание, которое необходимо для обозначения части предмета» (Панов 1999, 207).

Можно попробовать применить указанный критерий (возможность зависимого родительного падежа) к другим объектам, имеющим отношение к шкафу: к орнаменту на стенке шкафа, к одежде, хранящейся в нем, к нафталину, к особому запаху, к вылетевшей из шкафа моли и т.п. Можно ли по-русски сказать, допустим, *вешалка шкафа*? Можно — но только в том случае, если мы имеем в виду неподвижную перекладину внутри, за которую цепляют так называемые плечики с одеждой. Это — *вешалка шкафа*, его часть. Но те же самые плечики частью шкафа не являются, поэтому по отношению к ним никак нельзя сказать «вешалки шкафа» (можно только *вешалки в шкафу*, *вешалки из шкафа*, *вешалки для шкафа* и т.п.).

«Проверка конструкцией с родительным падежом может установить, что́ язык считает частью названного предмета... Падежные сочетания могут быть диагностическим средством, позволяющим узнать, как в языке представлены различные называемые объекты» (Там же, 208).

Мы уже знаем, что установленная языковым сознанием закономерность распространяется и на новые объекты, с которыми человек сталкивается впервые. В частности, совсем недавно в домашнем быту носителей русского языка появились так называемые шкафы-купе с раздвижной передней стенкой (типа «командор» или «сенатор»). И язык сразу же без тени сомнения

применяет к ним проверенные знания, предлагает выражения типа *зеркало шкафа* и т.п. Но невозможно сказать в ситуации, когда человек стоит перед «командором»: «отражение шкафа» (с формой родительного падежа) — только *отражение в шкафу*. Или вот в магазинах самообслуживания, в гипермаркетах появились шкафчики (камеры хранения) для сумок и портфелей. И опять-таки язык оказался готов к освоению этой реалии, он просто перенес на нее предыдущий когнитивный опыт. Так, можно сказать в подобной ситуации: *Замок шкафчика не работает*, но нельзя сказать: «Ключ шкафчика возьмите с собой» (только *ключ от шкафчика*).

Если допустить, что в какой-то иной, виртуальной реальности появилось бы нечто, что можно было бы по-русски обозначить как «шкаф», то язык тут же предложил бы человеку конструкции для обозначения того, что является или не является частью этого «нечто». У языка есть как бы свое видение того, что входит в состав предмета, а что следует считать другим, отдельным предметом, и этот когнитивный опыт закрепляется в синтаксических конструкциях.

Рассмотрим подробнее под данным углом зрения следующий пример: употребление предлога *при* в сочетании с формой предложного падежа существительных. При этом, однако, стоит напомнить, что значение предлога не существует в отрыве от управляемого падежа; фактически предлог вместе с падежной флексией образует единую грамматическую форму; она-то и является носителем синтаксического смысла.

Форма «*при* + предложный падеж» выполняет в русском языке целый ряд функций. В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой за ней закреплены такие семантические роли, как локатив, темпоратив, каузатив, комитатив (значение совместности действия) и др. (Золотова 1988, 340—345). И каждая из них требует для своей реализации определенных лексических условий — иногда это менее очевидно, иногда более.

Обратим внимание на одну из таких синтаксем (термин, употребляемый Г.А. Золотовой для обозначения минимальной семантико-синтаксической единицы). Она означает «предмет, наличие которого служит признаком, характеризующим

субъекта-носителя» (Там же, 344). Фактически это семантическая роль квалитатива: предмет становится символом некоторого общественного статуса, ритуала, регламента. Чаще всего речь в таком случае идет о деталях одежды и экипировки, оружии, наградах, украшениях. Можно сказать: *он при орденах, при медалях, при наградах, при регалиях, при шпаге, при сабле, при револьвере, при оружии, при галстуке, при фраке, при параде: она при драгоценностях, при бриллиантах, при макияже* и т.п. Два примера из художественных тестов: *Водопьянов, молодой, румяный, при ремнях и орденах, долго не мог понять, чего от него хочет кучерявый мальч...* (В. Астафьев. Затеси). *А вот и настоящая находка: портрет средних лет мужчины, в костюме, при галстуке, в очках. И подпись: «Плотников Валерий Геннадиевич»* (Л. Рубинштейн. Духи времени).

Список этот можно расширить за счет названий других вещей, играющих роль весомого признака, скажем, богатства или положения в обществе, торжественности ситуации и т.п. Полупутья можно сказать: *Он при тиджаке* или *Она при новом любовнике*. (Обычно с помощью такой конструкции характеризуется человек, но в принципе речь может идти также о событии, ср.: *Ужин при свечах* и т.п.)

Некоторые из этих выражений становятся устойчивыми, фразеологизуются. Таково, например, сочетание (*быть*) *при деньгах*. Фразеологичность его проявляется, во-первых, в том, что существительное здесь не принимает определения-распространителя (сказать «*Он при чужих (государственных и т.п.) деньгах*» можно только с другим — локативным — значением). Нельзя вставить в это выражение и глагол, кроме служебного *быть*: невозможно сказать «*Он является при деньгах*» или — в интересующем нас значении — «*Он находится при деньгах*». А во-вторых, современная речевая практика показывает, что данное выражение постепенно отходит от своего буквального значения. Строго говоря, у человека, который *при деньгах*, с собой может вообще не быть никаких денег; это просто состоятельный человек.

Таким образом, наше сознание с помощью языковых форм выделяет некоторую группу внешних атрибутов человека, слу-

жащих признаком его особого статуса или обстановки, в которой он находится. Но любопытно, что со временем, в соответствии с условиями жизни, состав этой группы меняется. Что-то перестает быть «статусным» признаком, а что-то, наоборот, таковым становится. Пусть с опозданием, но язык вносит коррективы в свои правила.

В стихотворении Андрея Вознесенского «Вальс при свечах» (и в популярной песне на этот текст) есть такие слова:

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда...

Для молодых людей определенной эпохи серьги и часы — значимые предметы личного обихода, они свидетельствуют то ли об особенностях ситуации, то ли о желании человека показать, что он самостоятелен, чего-то добился в жизни.

Точно так же и очки когда-то были признаком интеллигентного или образованного человека, и в следующем контексте данному предмету подчеркнуто придается роль соответствующего символа: *Я уже со всем начальством на станции переругался, до самого грузового диспетчера дошел. Сидит такой в фуражке, **при очках**, в помещении жарынь, печка натоплена до нетерпимости, а он еще воротник поднял* (Л. Кассиль. Огнеопасный груз).

Впрочем, в соответствии с замыслом говорящего, роль символа может придаваться и вполне обыденной вещи: зонтику, портфелю и т.п. Примеры: *Неожиданно в избу вошел осанистый мужчина **при бороде и усах** не виданной еще в Куприяновке формы* (С. Шатров. Одна на бумаге, две в уме). *Он держал челюсть в стакане с водой и надевал только перед докладами начальству, с галстуком и лауреатским значком. Форма одежды парадная, **при зубах*** (М. Веллер. Легенды Арбата). *Улыбку! Улыбку! Вы идете вся **при пакете**, то есть нежная и удивительная, цветочек в целлофане с бантиком. И вдруг целлофан рвется. И оттуда на зрителя — куски доброты. Тонны доброты!* (Э. Медведкин. Снимается кино).

Сказать по-русски «при бороде и усах», «при зубах», «при пакете» в принципе можно, да только при этом нарушаются привычные границы лексико-семантического класса. И компенсацией такого речевого «дискомфорта» для читателя или слушателя должно быть чувство эстетического удовольствия: норма здесь нарушается намеренно, с целью достижения определенного эффекта. То ли это ироническое отношение автора к персонажу, то ли стилизация «под прошлый век», то ли еще что?

Заслуживает внимания еще один момент. То, что в рамках единой формы скрывается целый ряд семантических функций, плохо отражается на их самостоятельности. Омонимия форм приводит к тому, что соответствующие функции начинают взаимодействовать, «проникать друг в друга», смешиваться. Противопоставленность их в системе размывается, нейтрализуется. Так происходит и с качественной ролью предлога *при* в сочетании с окончанием предложного падежа: она иногда в контексте объединяется, сливается с ролью локатива (типа *дом при дороге*, *кружок при домоуправлении*, *человек при деле*). Вот конкретный пример: *Достаю деньги, не берут. Напирают на хулиганство. На остановке приходит милиционер. Ну, понятно, милиционер меня с поезда долой. И вот я... при лопате* (С. Шатров. Купейный коллектив). *Я при лопате* — это как *офицер при орденах*, или как *человек при деле*? Более широкий контекст может это разъяснить, а может так и оставить без ответа.

Анализируя данный тип конструкций, мы шли в направлении «от формы к семантике», Но возможен и обратный путь, от семантики к формальному выражению: он в принципе приводит к тем же заключениям. Обратимся еще к некоторым примерам.

На сей раз объектом наблюдения послужат существительные со значением лица, включающим в себя **оценочный компонент**. Давно замечено, что такие номинации, как *умница*, *красавица*, *молодец*, *прелесть...* (с положительной окраской) или *дурак*, *подлец*, *негодяй*, *жмот*, *зануда*, *свинья...* (с отрицательной), ведут себя в речи по-особому, не так, как другие слова. (Кстати, языковедам хорошо известно, что эта аксиологическая шкала заметно сдвинута в негативную сторону: экспрессивно-оценочные

названия со знаком «минус» заведомо более многочисленны и разнообразны, чем их «положительные» соответствия.)

«Оценочные» существительные могут послужить еще одним доказательством внутреннего согласования лексико-семантических групп слов и синтаксических ролей в составе высказывания.

Одним из первых обратил на это внимание академик В.В. Виноградов. В своей штудии о типах лексического значения слова, впервые опубликованной в 1953 г. (Виноградов 1977), он показал, что вторичное (переносное) значение у таких лексем, как *петух* или *жилец*, возникает только при соблюдении некоторых синтаксических условий. Примерами служили высказывания типа: *Вот так петух!* (о задиристом человеке) или *Не жилец она на белом свете*. В обобщенном виде тезис В.В. Виноградова выглядел так: «Синтаксические свойства слова как члена предложения здесь как бы включены в его семантическую характеристику» (Виноградов 1977, 184). Автор называл подобное значение функционально-синтаксическим, синтаксически обусловленным или, более конкретно, предикативно-характеризующим. Оценочное значение у данной группы слов возникает только при условии помещения их в определенную синтаксическую позицию. Какую именно? «Предикативно-характеризующее значение у имени существительного может реализоваться в сказуемом или в составе сказуемого, в обращении, в обособленном определении и приложении» (Там же). В той же статье признавалось, что есть слова, для которых такая функция является основной, первичной (например, существительные *загляденье* или *объяденье*). Это значит, что нельзя сказать по-русски: «Ну и радуйся своему загляденью!» или «Попробуйте объяденье: сама готовила!»

Правда, тут нужно добавить оговорку: существительное с «предикативно-характеризующим значением» может использоваться и за пределами данной функции, для обычного названия, но только при условии, что его сопровождает определяющее местоимение *этот, такой, подобный, один* и т.п. — ср.: *Этот петух явился в новом костюме* или *Такого объяденья вы еще не пробовали!*

Как объяснить эти факты? Принципиальное значение для понимания внутренней связи между ограничениями в лексической семантике слова и его синтаксическими функциями имела статья Анны Вежицкой 1970 г. (Вежицкая 1982). В ней оценочные наименования рассматривались как инородные элементы по отношению к основной структуре высказывания. Это как бы «скрытые цитаты», или отсылки к иным высказываниям. В таком качестве выступают не только метафоры вроде *нетух* или *гусь*, но и упомянутые номинации типа *дурак*, *подлец*, *умница*, *молодец* и т.п., а также именные сочетания вроде *хороший лыжник*, *отличный мастер*, *подлинный художник*. Именно поэтому мы не можем сказать по-русски (с повествовательной интонацией): «Отличный мастер живет в соседней квартире».

Подобные выражения, по словам исследовательницы, наделены функцией «прагматических операторов»: «существенная часть содержания этих предикатов затрагивает не обозначаемое лицо, а отношение между этим лицом и говорящим, а точнее говоря, отношение говорящего к тому лицу, о котором идет речь» (Там же, 244). Если же оценочное наименование в синтаксической структуре предложения формально выполняет роль субъекта, то по сути за ним скрывается второй предикат. Примером могло бы послужить восклицание с эмфатически выделенным *отличный мастер*: *От-лич-ный мастер живет в соседней квартире!* То есть ‘тот, кто живет в соседней квартире’ (одна пропозиция), ‘оказывается — отличный мастер’ (другая пропозиция). А. Вежицкая прямо называет такую процедуру конъюнкцией высказываний, т.е. их объединением.

Дальнейшие исследования в данном направлении выявили ряд особенностей синтаксического употребления слов с оценочной семантикой. Сегодня уже никто не оспаривает, что «синтаксически несвободными могут быть не только переносные, но и прямые значения слов оценочного характера» (О.П. Ермакова). Было показано, что чем более субъективный — оценочный или образный — характер имеет номинация, тем более нуждается она в опоре и поддержке со стороны анафорического местоимения. Это значит, что точно так же, как в случае с *нетух* или *загляденье*, нельзя по-русски сказать: «Дурак проиграл всё в карты» или

«На конференции выступал зануда», но вполне возможно: *Этот дурак проиграл всё в карты* или *На конференции выступал один зануда*.

Выяснились и другие условия, необходимые для реализации оценочных значений в непредикатной позиции. Как показала О.Е. Фролова, оценочные номинации (она называет их предикатными) могут выступать как заглавия литературных произведений (ср.: «*Идиот*», «*Человек в футляре*», «*Фаталист*» и т.п.), но нормальное их синтаксическое функционирование в составе предложения затруднено описанной особенностью лексической семантики. Прочитируем: «В качестве теста на предикатность названия может служить возможность / невозможность имени или именной группы занимать позицию субъекта в изолированном предложении: *Герой нашего времени вошел в комнату; Бирюк огляделся; Фаталист получил письмо*. Чтобы подобные предложения были возможны, в качестве контекста они должны предваряться другими высказываниями, где предикатное имя присваивалось бы персонажу» (Фролова 2006, 52). Таким образом, к синтаксическим условиям, «подходящим» для данного класса существительных и исчисленным В.В. Виноградовым (сказуемое, обращение, обособленное определение), добавляется еще употребление в качестве односоставных номинативных предложений (заглавий).

«Оценочная» лексика — средство, которое активно используется для характеристики речи персонажей в художественной литературе. В этот подкласс входят и слова, для которых типична функция обращения: *дружище, старина, голубчик, браток, зайчик* (в переносном значении) и т.п. (Любопытно, что из-за ограниченности своего синтаксического употребления они сильно «привязываются» к форме именительного падежа — невозможно сказать «Я пойду к дружищу».) Если же все-таки такое слово попадает из речи персонажа в авторскую речь, то это обычно свидетельствует о дополнительных речевых интенциях писателя, ср.:

Меня, *голубчика*, тетка поместила тут же, в мастерской, чтобы я, не отходя далеко, самым скорейшим образом изучил методы ее

монументальной живописи (А. Ким. Белка; здесь слово *голубчик* — это явно из речи тетки, а не того лица, от которого ведется повествование).

Еще две цитаты, содержащие в себе элементы аналогичной языковой игры — обращение окказионально становится членом синтаксической структуры высказывания:

— Воруги у вас в доме номер семь живут! — вопил дворник. — Сволота всякая! **Гадюка семибатюшная!** Среднее образование имеет. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!..

В это время **семибатюшная гадюка** со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).

— А все-таки хорошо, **старина**, что мы в форме, прекрасно себя чувствуем, полны желаний. ...

— Да, Петя, — сказал **старина**. — Это чудесно (А. Арканов. Как хорошо, когда мы во что-то верим...).

Конечно, картина функционирования экспрессивно-оценочных наименований лиц представлена здесь в несколько упрощенном виде (подробнее см.: Норман 2007). В частности, стоило бы уточнить, что существительное может «сглаживать» или вовсе утрачивать свой оценочный компонент, и тогда оно получает право употребляться в тексте за пределами предикатной позиции. Одна иллюстрация — из письма Бориса Пастернака отцу, художнику Л.О. Пастернаку:

Милый папа, это письмо пишет **ничтожество**.

Ничтожество пробыло в Перми три дня, потратив при современной дороговизне массу денег (не на покупки, на проживание). Ты не можешь себе представить, папа, до какой степени верно и подходит то определение, которое я себе тут даю.

Видишь ли, **ничтожеству** страшно хочется перед тем, как к вам возвращаться, повидать Надежду Михайловну и с ней из Самары до Нижнего на пароходе поехать, — ему очень этого хочется, и больше

того, оно, **ничтожество**, знает, что там, где начинается осуществление его желаний, **ничтожество** перестает существовать...

Понятно, что примеры, подобные приведенному, «царапают» глаз, останавливают на себе внимание читателя; на это, собственно, они и рассчитаны. Для писателя это — своего рода художественный прием, основанный на нарушении языкового правила. Для лингвиста — проявление некоторых внутриязыковых закономерностей.

Итак, какой же можно сделать вывод? В нашем сознании обособился класс оценочных существительных, называющих человека по его несомненно положительной или отрицательной характеристике. Это результат обобщения коллективного опыта: когнитивного, эмоционального, коммуникативного. И язык предлагает четкие средства для его закрепления.

Стоит вспомнить любопытный факт: нейролингвисты отмечают, что при афазии (утрате речи) экспрессивные слова и выражения сохраняются в памяти, в то время как «обычным» (нейтральным) номинациям свойственно забываться, связи между ними разрушаются. Это позволяет предположить, что оценочная и нейтральная лексика хранятся в разных отделах памяти и функционируют по-разному, — возможно, в соответствии с наличием в языковой способности человека двух грамматик: «номиноцентрической» (управляемой правым полушарием) и «предикатоцентрической» (локализуемой в центрах левого полушария),

Возвращаясь к упомянутой статье В.В. Виноградова, можно прийти к заключению, что та или иная степень «синтаксической обусловленности» свойственна всем без исключения словам. Следовательно, синтаксически обусловленное значение — это не отдельный тип значения, свойственный тем или иным лексемам, а фактически особый **аспект** значения, составная (и обязательная) часть лексической семантики. В частности, в русском языке отчетливыми синтаксическими признаками характеризуются такие группы слов, как имена собственные, названия частей тела, родственных отношений, отвлеченных существностей, пространственных параметров и т.п. Об этом еще пойдет речь в следующих главах.

ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ (КОНСТРУКЦИИ «МАЛОГО СИНТАКСИСА»)

Развивая тему прошлой главы, трудно отделаться от мысли о скрытых в ней (теме) противоречиях. С одной стороны, мы принимаем, что заложенные в синтаксических моделях пропозитивные смыслы автономны и самодостаточны, они соответствуют данному уровню обобщенности языковых единиц. С другой стороны, реализация этих моделей в речи неизбежно сопряжена с теми или иными лексическими условиями и ограничениями. Говоря словами Н.Ю. Шведовой, «любой синтаксический образец предложения не свободен от “оглядки на слово”». Как совместить эти два качества?

По-видимому, всё дело в том, что разным синтаксическим моделям свойственна **разная степень лексической обусловленности**. Языковеды это заметили уже давно.

Еще датский ученый Отто Есперсен в своей «Философии грамматики», вышедшей 1-м изданием в 1924 г., указывал на необходимость разграничивать «свободные выражения» и «формулы» (клише). К первым, по мнению ученого, относятся «соединения языковых единиц, созданные на данный случай по определенному образцу, который возник в подсознании говорящего в результате того, что он слышал огромное количество предложений, имеющих общие черты» (Есперсен 1958, 18). Формулы же даются говорящему в готовом виде; «в них никто ничего не может изменить». Автор, однако, считал нужным оговориться: «Различие между свободными выражениями и формулами в ряде случаев улавливается трудно; <...> при этом формулы могут играть и действительно играют большую роль в выработке моделей в сознании говорящих, тем более что многие из них встречаются очень часто» (Там же).

В русской лингвистике интерес к данной проблематике обнаруживается начиная с 50-х годов прошлого века. В частности, Н.Ю. Шведова среди особенностей русской разговорной речи специально описывала ситуацию, когда «конструкция лексически ограничена, ее словесное наполнение несвободно, грамматическая форма встречает «сопротивление лексического материала» (В.В. Виноградов). Этим создаются совершенно особые типы построений, которые не могут быть отнесены к числу абстрактных, свободно наполняемых любым словесным материалом схем, составляющим основу собственно грамматики» (Шведова 1958, 93). Но если лексика, фигурально выражаясь, диктует говорящему свои условия, то какая роль отводится в процессе речепроизводства грамматике? Не теряет ли в данных условиях смысл само понятие синтаксической структуры?

Продолжим цитату: «По существу, лексические ограничения являются как бы своеобразным элементом формы такой конструкции, наряду с лежащей в ее основе схемой соединения словесных элементов и со свойственной данной конструкции интонацией» (Там же, 94). Объектом рассмотрения исследовательницы стали высказывания типа *Чем не жених? Что бы поосторожней! Что за характер! То ли не жизнь! Нет чтобы подождать! До чего ловко! Мало ли что болен! Всем молодцам молодец; Без тебя праздник не в праздник; Взять хоть тебя* и т.п. Обратим внимание на обилие в данных высказываниях частиц, предлогов и местоимений, а также на то, что многие из них на письме оканчиваются восклицательным знаком — это не случайно! Речь, очевидно, идет об огромном массиве «полуустойчивых» выражений, относящихся к сфере **экспрессивного синтаксиса**. Но, говоря о лексической обусловленности подобных конструкций, Н.Ю. Шведова подчеркивает, что имеет в виду не только их «служебные» составляющие, но и полнозначные слова.

Д.Н. Шмелев расширил перечень «связанных» синтаксических конструкций, или, по-другому, «фразеологических схем», в русском языке за счет таких примеров, как: *Помочь — они мне не помогут; Спать-то я спал, но...; Страх страхом, а...; Думай не думай, а...; Дружба дружбой, а служба службой; Пиши вы на эту тему рассказ...; Хоть забор подтирай...* и т.п. (Шмелев 1960, 51—

59). Для ученого основным признаком «связанных» конструкций стала «их оторванность, изолированность от конструкций, вступающих в определенные ряды», а также их особая модальность. Однако на чем основана эта «оторванность» и что именно является воспроизводимым во «фразеосхемах» — оставалось неясным.

Затем тот же набор конструкций — прежде всего с местоименными или служебными компонентами либо с лексической тавтологией — повторялся в качестве «предложений фразеологизированной структуры» в ряде авторитетных грамматик русского языка. В частности, академическая «Грамматика русского литературного языка» 1970 г. иллюстрирует «связанные» структурные схемы примерами типа *Вечер как вечер, Праздник не в праздник, Всем пирогам пирог* и т.п. (Грамматика 1970, 558). «Русская грамматика» 1980 г. среди «предложений фразеологизированной структуры» рассматривает также случаи типа *Нет чтобы помолчать; Не до сна; Вот голос так голос; Ехать так ехать; Ай да молодец! Чем он не жених! Есть куда пойти, Кто как не он поможет; Что брату до меня! Куда как не к начальству обращаться; Только и разговоров, что...* (Русская грамматика 1980, II, 383—386 и др.). Примерно тот же набор синтаксических образцов «с индивидуальными отношениями компонентов и с индивидуальной семантикой» приводится в «Краткой русской грамматике» (Краткая русская грамматика 1989, 459—461). А в монографии С. Димитровой уже знакомые нам предложения фигурируют в разделе «Исключения, наблюдаемые на синтаксическом уровне русского языка». Спрашивается: что же в них такого «исключительного», если эти конструкции составляют естественную часть нашего речевого обихода? Ответ: они «ущербны с точки зрения полноты парадигмы предложения» (Димитрова 1994, 161).

Еще одну группу «связанных» синтаксических конструкций предложила ввести в научный обиход Г.А. Золотова. Она анализирует высказывания вроде *Слово за президентом; Выбор за вами; Решение — за судом; Выстрел за мною; Победа за нами* и т.п. (Золотова 1997, 151). При этом автор тоже ничего не говорит здесь о лексических ограничениях (хотя их нетрудно усмотреть

и в приведенных примерах), а, развивая идеи Д.Н. Шмелева, видит «связанность» этих конструкций в том, что употребленная в них словоформа (в конкретном случае — «за + творительный падеж имени») выпадает из обычной словоизменительной парадигмы, да еще и довольно жестко закрепляется позиционно. Вместе с тем такая «застывшая» словоформа получает и содержательное (функциональное) определение. Когнитивная специфика данных конструкций обнаруживается в модальных оттенках, которые можно объединить примерно под такой шапкой: «констатация долженствования, граничащая подчас с призывом, побуждением».

Обобщению проблемы фразеологизованных (ранее говорили и писали — «фразеологизированных») моделей посвящена работа финского русиста М. Копотева. По его мнению, главное свойство исследуемого материала — это его **идиоматичность**: синтаксические единицы «подвержены общим тенденциям идиоматизации, превращаясь в «прецедентный текст», клише, устойчивый оборот, и — при максимальной свободе — в самостоятельную синтаксическую модель» (Копотев 2008, 9). Список «русских синтаксических фразем» в этой работе имеет такой вид (приведем только первые 10 позиций):

1. Что за + N (*Что за прелесть!*)
2. Вот + N/Adj/Adv/V (*Вот дурак!*)
3. Вот так + (cop) + N, Adj, Adv, V (*Вот так история!*)
4. Вот + N/Adj/Adv/V + так + N/Adj/Adv/V (*Вот дурак так дурак!*)
5. Вот это + N/Adj/Adv/V + так + N/Adj/Adv/V (*Вот это дурак так дурак!*)
6. Вот (тебе) и N/Adj/V (*Вот тебе и сбежали! Вот тебе и приятели!*)
7. Ну и N (*Ну и молодец! Ну и люди...*)
8. Какой он (это) + N (*Какая это музыка!*)
9. Всем N N (*Всем пирогам пирог*)
10. Ай да N (*Ай да Таня*)... и т.д.

Данный перечень представляет собой, в общем-то, механическое объединение всех предлагавшихся разными учеными образцов. Но самое интересное, что он насчитывает целых

79 позиций! И это, очевидно, не предел (скажем, предложенных Г.А. Золотовой моделей М. Копотев не учитывает).

Если попытаться нащупать в проделанном обзоре некоторую общую тенденцию, то можно утверждать, что перечень фразеологизованных (лексически обусловленных и/или парадигматически ограниченных) структурных схем в русском языке **постепенно расширяется** за счет тех синтаксических моделей, в которых актантные позиции заполняются представителями конкретных лексико-семантических групп, а порядок компонентов оказывается несвободным.

Каково же место рассматриваемых структур в познавательных процессах? Думается, что когнитивная специфика фразеологизованных синтаксических моделей — в том, что в их содержании референтный компонент, соотносящий содержание высказывания с действительностью, ослаблен, а за счет его усиливается компонент экспрессивный и эмоционально-оценочный. Обратимся еще раз к «классическим» образцам фразеологизованных структур: *Что за прелесть! То ли не жизнь! Нет чтобы подождать! До чего ловко! Вот так история! Мало ли что болен!* и т.п. Многие из них представляют собой спонтанные эмоциональные реакции говорящего на какие-то (достаточно стандартные) ситуации. Это значит, что степень их воспроизводства бóльшая, чем обычных (нефразеологизованных) синтаксических моделей. Это своего рода полуфабрикаты — реплики, производство которых не требует включения левого полушария. По той же причине рассматривать их с точки зрения используемых в них предикатно-актантных структур непродуктивно; они функционируют на иных основаниях.

Рассмотрим «в действии» одну из таких моделей, обозначенную выше как *Всем тирогам тирог*. При строго заданном порядке компонентов лексическое заполнение ее позиций может быть чрезвычайно разнообразным (единственное условие — чтобы существительное могло иметь множественное число), ср.:

Жил-был мальчик. Вот уж это был **всем мальчикам мальчик**, просто мальчишище какой-то (Л. Петрушевская. Загадочные сказки).

Мы вот только не знаем, что есть талант. Это, конечно, **всем иксам икс**, такой безответный икс, что о нем ничего не скажешь... (В. Пьецух. Новая московская философия).

...Ко мне в гости приехал мужчина с бараньей ногой. О! Что это была за нога! **Всем ногам нога**. Мясо (Е. Пунш. Мыть полы коньяком).

Экспрессивная окраска данной модели во всех примерах очевидна, общий смысл ее — «кто-то или что-то существует в максимальном проявлении своих качеств».

И неважно, сколько фразеологизованных синтаксических моделей мы будем выделять — десятки или сотни. Важно то, что они, в силу своей идиоматичности, в значительной мере составляют синтаксическую специфику конкретного языка. Вот как писал чешский лингвист Мирослав Грпель о сопоставительных задачах в области славянского синтаксиса: «Наиболее общий, наиболее отвлеченный тип, свойственный всем славянским языкам (и не только им), в сопоставительном плане менее интересен. Ведь на таком высоком уровне существует почти полная идентичность. Иначе говоря, рассуждения о предложениях вроде *Кошка лижет молоко*, <...> представляются бесплодными. Наоборот, чем больше мы спускаемся «вниз», к более частным типам, тем больше расхождений наблюдается между отдельными славянскими языками (в представленности типов и в их формальном облике, в функциональном использовании, в стилистической значимости и т.д.); именно здесь лежит богатое поле действия для сопоставительного исследования» (Грпель 1967, 63). Фразеологизованные синтаксические модели — та изюминка, которая отличает речь *native speaker*'а (коренного носителя языка) от речи выученной, усвоенной... Конечно, это схемы, используемые в определенных стилистических границах, чаще всего — в разговорной речи, и в этом смысле — «мало типичные» для языка в целом (вспомним определение С. Димитровой: «исключения»!). Однако они чрезвычайно важны именно как проявление национальной самобытности языка.

В современной литературе распространяется понятие «малого синтаксиса» (термин Л.Л. Иомдина). Вот его определение:

«Под «малым синтаксисом» понимается совокупность периферийных фразеологизованных синтаксических конструкций, каждая из которых имеет по крайней мере одну фиксированную грамматическую форму или лексему» (Апресян [и др.] 2010, 59). К этой сфере авторы относят очень разнородный материал, имеющий статус то предложения, то словосочетания. В частности, здесь рассматриваются русские конструкции типа *Негде спать*, многообразные экспрессивные выражения вроде *На кой черт?* или *Черт с ним!*, обороты с составными предлогами *в силу, через силу* и др., устойчивые словосочетания типа *всё равно*, конструкции с повторяющимися словоформами (*Он рос и рос, Снег да снег кругом; Бывают аварии и аварии; Ну, упал и упал; Кто-кто, а он...*) и т.д.

Не касаясь здесь структурных особенностей этих «синтаксических фразем», отметим, что данный материал в значительной степени пересекается с традиционно уже выделяемыми фразеологизованными синтаксическими моделями. И нам ничего не остается делать, кроме как признать, что граница между «большим» и «малым» синтаксисом условна, относительна. Не случайно списки фразеологизованных синтаксических моделей у разных авторов так расходятся в своей периферийной части, но имеют общее «ядро» и при этом характеризуются явной тенденцией к расширению.

Возможно, степень лексической связанности структурной схемы находится в прямой зависимости от широты или узости содержащегося в ней пропозиционального смысла. Тогда справедливо следующее предположение: «...Чем более узкой семантикой обладает схема, тем более жесткие ограничения она накладывает на лексическое заполнение, проявляющееся в актах отбора и приспособления лексической семантики к семантике схемы» (Шмелева 1978, 360).

Вывод из сказанного можно сделать такой: лексическая обусловленность, или «связанность», оказывается внутренним свойством синтаксической модели, воплощающим в себе идею взаимодействия отдельных уровней в общей системе языка. А «фразеологизованность» синтаксических моделей имеет всеобщий, но при этом градуальный характер. На одном полюсе

этой шкалы находятся максимально «свободные» высказывания вроде упомянутого *Кошка лижет молоко* или *Отец спит*, на другом — синтаксические идиомы типа *Что за прелесть!* или *Черт с ним!*, а посередине, между ними, — огромный и плохо поддающийся систематизации корпус «полуфабрикатных» высказываний с той или иной степенью лексической связанности.

Рассмотрим подробнее функционирование таких «промежуточных» конструкций на конкретном примере. По-русски можно сказать: *Иван Петру брат; Внук бабушке помощник; Ты мне друг или кто?* и т.п. В основе этих высказываний лежит трехчленная пропозиция, элементы которой можно было бы условно выразить через местоименные субституты: «кто-то» — «кому-то» — «кто-то». Если же попытаться обозначить эти составляющие с помощью терминов, то для первого члена пропозиции подойдет определение «субъект отношения» (у Ч. Филлмора он покрывается общим понятием «агенс», у Л. Теньера — понятием «первый актант»), для второго подойдет «объект отношения» (в других терминологических парадигмах — контрагент или пациентив), для третьего — «предикат квалификации» (дескриптив, квалификатив и т.п.). Причем для первого и второго актантов («кто-то» и «кому-то») естественно воплощение в существительные со значением живого существа, да и для третьего (предиката квалификации) это желательно.

Идет ли здесь речь об устойчивых, клишированных, целиком воспроизводимых выражениях? Разумеется, нет: продуктивность («несвязанность») данной синтаксической модели легко показать через расширение круга лексем, занимающих указанные три позиции. Так, вполне можно сказать: *Петр Ивану дальний родственник; Сосед матери первый помощник; Маша тебе не нянька; Ты мне не судья* и т.п. Приведем также в подтверждение сказанного две литературные иллюстрации:

— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе есть?

Старик-дворник ничуть не удивился.

— **Кому и кобыла невеста**, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).

Желательно первобытное племя, не искаженное грамотностью. Чтоб ни один **сородич** своему **трубадуру** не конкурент (М. Веллер. Легенды Арбата).

Еще интереснее следующая цитата из стихотворения Марины Цветаевой, в которой два из трех участников ситуации по очереди воплощаются в неодушевленные существительные — *страница, перо, добро, луч и влага*. Но это типичный случай уже знакомой нам анимизации, не меняющий общего правила:

Я — страница твоему перу...

Я — хранитель твоему добру...

Ты мне — луч и дождевая влага...

(«Я — страница твоему перу...»)

Предикатно-актантная структура «кто-то» — «кому-то» — «кто-то» хорошо нам знакома по крылатому выражению *Человек человеку волк*: в основе его лежит более древний афоризм, унаследованный славянскими народами от античной культуры: это латинское *Homo homini lupus est*. Белорусы говорят: *Чалавек чалавеку воўк*, сербы: *Човјек је човјеку вук*, чехи: *Člověk člověku vlkem* и т.п. Уже в социалистическое время данная формула была «приведена в соответствие» с гуманистическими идеалами: *Человек человеку — друг*, с возможным продолжением: *товарищ и брат*; аналогичная модификация имела место и в других славянских языках. Но сама модель, следует признать, «работала» в славянских языках очень давно. Уже Франтишек Челаковский, чешский фольклорист и деятель национально-патриотического движения, фиксирует в своем сборнике «Мудростловий славянского народа» (1-е издание — 1851) образцы речений вроде *Pies piesu brat* ‘собака собаке брат’; *Přítel příteli bůh* ‘друг другу бог’; *Člověk člověku Bůh i d’ábel* ‘человек человеку Бог и дьявол’ и др. (Čelakovský 1978, 18, 136, 169). Интересно, насколько глубоко пронизывают эту формулу лексические ограничения?

Современный польский грамматист И. Бобровски (Bobrowski 1995, 75–79) пытается ответить на этот вопрос, исходя из

строгих правил генеративной грамматики. Он принимает за отправную точку в своих рассуждениях устойчивое польское выражение *Człowiek człowiekowi człowiekiem* ‘человек человеку — человек’. Если попробовать экстраполировать данную формулу на любой (произвольно выбранный) лексический материал, то мы механически получим искусственные высказывания вроде *Pies psu psem* (буквально ‘собака собаке — собака’), *Sytryna sytrynie sytryn* (буквально ‘лимон лимону — лимон’) и даже *Kiwi kiwi kiwi* (*kiwi* — название экзотического южного фрукта *киви*, в польском, как и в русском, не изменяемое по падежам и числам). Конечно, такой эксперимент (своего рода методологическая провокация) весьма полезен в дидактическом плане. Мы видим, как пример создает прецедент и тем самым «обосновывает» модель. Одновременно с этим в очередной раз демонстрируется независимость синтаксиса от морфологии и от лексики.

Любопытно, что совершенно независимо от польского лингвиста российский писатель — с другими, очевидно, целями — проводит аналогичный эксперимент с русским исходным высказыванием *Человек человеку волк*. Сетую на распространение в современной масскультуре (особенно молодежной) междометия *вау*, Виктор Пелевин пишет:

Но человек человеку уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи. Всё гораздо страшнее и проще. **Человек человеку вау** — и не человеку, а такому же точно вау. Так что в проекции на современную систему культурных координат это латинское изречение звучит так: **Bay Bay Bay!** («Generation “П”»).

Художественный текст, очевидно, подчиняется своим закономерностям, однако мы видим, что пренебрежение правилами лексического заполнения синтаксических позиций приводит к образованию неотмеченных, неправильных высказываний! Иными словами, эксперимент дает то, что Л.В. Щерба называл «отрицательным языковым материалом». Речевые факты, сопровождаемые пометой «так не говорят», по словам ученого, «указывают или на неверность постулированного правила, или

на необходимость каких-то его ограничений...» (Щерба 1974, 32) — и именно в этом заключается главная ценность «отрицательных» примеров.

Попробуем пояснить эту мысль, привлекая дополнительный материал — он позволит нам докопаться до корней данной конструкции. В русском языке выражение *Человек человеку волк* упало на благодатную почву. Имеется в виду существовавшая с давних времен синтаксическая модель, по которой построен целый класс высказываний. В частности, в уже упоминавшемся сборнике Владимира Даля «Пословицы русского народа» (середина XIX в.) зафиксированы такие примеры, как: *Гусь свинье не товарищ; Сытый голодному не товарищ; Сапог сапогу брат (ровня, пара); Нога ноге друг; Жена мужу пластырь, муж жене пастырь; Жена-красавица слепому радость; Деверь невестке обычный друг; Медведь корове не брат; Вдовец деткам не отец* и др. Заметим, что та же модель широко представлена в паремиях у других восточнославянских народов, ср. белор.: *Брат брату — паняволі прыяцель; Баязліваму і корч мядзведзь; Лісе і жук — мяса; Андрэй Кузьме — родны Хвёдар* и т.п.; укр. *Гусь свині не товариш; П'яний комісару брат; Жінка чоловікові — подруга, а не прислуга* и т.п.

Еще показательней использование данной модели в игровом, шутливом контексте, когда окказиональный смысл высказывания формируется с опорой на типовую семантику модели, ср.:

— Знаешь, как шутят у нас в тамбовских лесах? «**Волк волку — человек**». Сразиться не с кем. Одни зайцы (С. Довлатов. Ослик должен быть худым).

Человек человеку совет, способ и инструмент, и все становится понятным, все возможным (М. Жванецкий. Миниатюры).

В сборнике юмористических переделок русских паремий «Антипословицы русского народа» содержится масса подобных «перелицовок». Например: *Сытый пешему не конный; Лысый голодному не товарищ; Мертвый голодному не товарищ; Килька осетру не товарищ; Евро баксу не товарищ; Гусман Михалкову*

не товарищ; Гусь товарищу не свинья и т.п. (Вальтер, Мокиенко 2005).

По сути же все эти игровые трансформации основываются на одном: на несоблюдении исходных правил лексической реализации предикатно-актантной структуры. Выше уже упоминалось, что все участники данной модели лексически обусловлены, связаны. Но самое сильное лексическое ограничение касается 3-го участника ситуации — именного предиката (квалификатива): в идеале он должен обозначать близкого человека! Вот тут мы наблюдаем непосредственную связь синтаксической модели с результатами познавательной деятельности. В сознании у обычного носителя языка представлено разделение отношений, существующих между людьми, на более тесные (постоянные, существенные) и менее тесные (случайные, поверхностные). Осуществляется эта категоризация прежде всего, конечно, с помощью соответствующих названий, но, что для нас особенно важно, она подкрепляется выбором синтаксических конструкций.

Поясним сказанное. На вопрос «Он тебе (ему, ей, вам и т.д.) кто?» мы легко допускаем ответы: *Он мне брат; Петя Василию Ивановичу племянник; Маша Тане двоюродная сестра* и т.п. (хотя существуют и другие грамматические варианты ответов: *Мы с ним братья, Петя — племянник Василия Ивановича, Маша и Таня — двоюродные сестры* и т.п.). Самые естественные здесь ответы — это именно названия степени родства: *отец, брат, сестра, сын, племянник, дальняя родственница* и т.п. Можно по-русски сказать даже *Он мне седьмая вода на киселе*, но все равно это обозначение родства.

Менее естественны, но все же допустимы в данной речевой ситуации слова, обозначающие значительную степень **духовной близости**: *Он мне друг, советчик, товарищ, помощник, учитель, нянька, опора...* (Здесь явно нарастает конкуренция с другими конструкциями, ср.: *Он мой друг, Он для меня советчик, Он у меня опора* и т.п.). Любопытно, что при наличии отрицания лексические требования к этой третьей составляющей несколько смягчаются, ср. допустимое *Петя Мише не враг (не сторож,*

не советчик, не хозяин и т.п.) при маловероятном «Петя Мише враг» (сторож, советчик, хозяин и т.п.).

Применение синтаксического критерия выявляет семантическое расщепление существительных типа *учитель* или *помощник*. Если речь идет о формальных отношениях, о занимаемой должности, мы скажем: *Макаренко — наш учитель* или *Петров — мой помощник*. Если же имеются в виду глубинные, духовные связи, то вполне вероятны построения *Макаренко нам учитель* (т.е. 'наставник') и *Петров мне помощник*.

Любопытно, что во времена Пушкина совершенно нормально выглядело: *«Ты ей знаком? — Я им сосед»* («Евгений Онегин»). Сегодня же мы скажем скорее не *Я им сосед*, а *Я их сосед*. Не свидетельствует ли это о том, что сущность понятия «сосед» в нашем сознании изменилась: из категории «близких людей» оно переходит в разряд «случайных отношений»?

Но уж совсем невозможно себе представить выражения «Он мне командир», «Петя Василию Ивановичу денщик», «Иванов нам депутат», «Миша Тане старшекласник», «Иванов складу сторож», «Я вам просто прохожий» и т.п.

Получается, что синтаксические конструкции, обобщая многовековой опыт коллектива, представляют нам его сегодня в готовой и очевидной форме. Структурная схема «кто-то кому-то кто-то» из всех названий людей в русском языке прежде всего выделяет названия родственников. Это первый вид близости: родство. Язык допускает также в данной позиции существительное, обозначающее значительную степень духовной связи или зависимости. Это для говорящего, так сказать, вторая категория людей. А вот все прочие категории и соответствующие названия в данную схему не укладываются. В этой третьей ситуации на вопрос «Он тебе кто?» надо ответить одним словом: «Никто».

Кажется, ни один детективный роман не обходится сегодня без обмена репликами типа «Он вам кто? — Он мне никто». Вот это «Он мне никто» означает: 'он мне не родственник, более того, я не состою с ним ни в каких близких отношениях, я вообще его не знаю'. Литературные примеры:

— А что случилось-то?

— А вы ей кто?

— **Я ей никто.** Получила письмо с просьбой о помощи. Вот и звоню вам (Т. Толстая. Ужин для пятого корпуса).

— Еще через пять минут врач обратился к Кивинову:

— **Вы ей кто?**

— Да **никто.** Из милиции мы (А. Кивинов. Менты).

Устойчивое выражение *Он (она) мне никто* приобретает, очевидно, особую когнитивную ценность. Оно означает: 'этот человек не входит в мой круг, в мою личную сферу'.

Несоблюдение описанного тройственного деления, лексическое «разбалтывание» предикатной (квалификативной) позиции ведет к семантическому усложнению, метафоризации всего высказывания. Примеры подобного рода уже приводились (*Жена мужу пластырь; Я — страница твоему перу; Человек человеку совет, способ и инструмент* и т.п.). Могут за такими речевыми ходами скрываться и тонкие семантические оттенки. Так, в следующей цитате дательный падеж *мне* допускает большую степень близости (зависимости), чем та, что должна быть между директором завода и обычным инженером:

Ваш работник инженер Маркычев задержан за переход государственной границы в буржуазном государстве. Позвольте, говорит директор. **Маркычев мне не инженер.** У нас такой не работает (М. Веллер. Легенды Невского проспекта).

И еще один показательный пример. Здесь одна из собеседниц не удовлетворяется предложенной квалификацией *приятель*, а настаивает на ее уточнении, предполагая, очевидно, какие-то иные, более скрытые отношения, а вторая собеседница уходит от ответа.

— Так кто он?

— Приятель.

- А почему он тебя все время караулит? **Ты ему кто?**
— Давай-ка лучше выберем вино (Н. Андреева. Сезон дикой охоты).

Итак, конструкция «кто-то кому-то кто-то» — пример моделей, располагающихся в русском языке, если пользоваться терминологией Есперсена, между «свободными выражениями» и «формулами (клише)»: степень их лексической обусловленности выше, чем у первых, но ниже, чем у вторых.

Кстати, рассмотренная синтаксическая модель — не единственная конструкция, требующая для своей реализации участия «родственных» названий. Другим случаем может быть структурная схема с предикатом «генетического подобия» (термин Г.А. Золотовой). Имеются в виду конструкции типа *весь в деда, дочь в мамину породу; Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца* (поговорка); *Петя (вышел) в Сашу* и т.п. В последнем примере, кстати, подразумевается, что Саша должен быть старше Пети, что свидетельствует о том, что лексические условия в этой конструкции еще больше сужаются: родственник, служащий образцом «генетического подобия», должен быть старше по возрасту... Если же в конкретном случае в данную позицию попадает не название родственника, а какое-то другое существительное, то это опять-таки связано с метафоризацией высказывания, ср.: — *Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?* (А.С. Пушкин. Дубровский).

Следующий синтаксический образец тоже связан с функционированием форм дательного падежа существительных. Кроме наиболее типичной адресатной функции, дательный падеж способен в русском языке выражать и другие семантические роли. В том числе он обозначает человека как **посессора** (обладателя, хозяина) по отношению к элементам его личной сферы (прежде всего неотчуждаемым, постоянным). Это становится очевидным в ситуации, когда часть тела или иная составляющая личной сферы подвергается физическому действию в пользу или (чаще) во вред обладателю. Можно сказать: *Мне в*

автобусе наступили на ногу (это значит ‘на мою ногу’); *Маша нечаянно поцарапала Пете щеку* (‘Петину щеку’); *Собака порвала соседу брюки* (‘брюки соседа’); *Осторожно, ты попадешь мальчику в глаз* (‘в глаз мальчика’); *Кавалер поцеловал даме руку* (‘руку дамы’) и т.п. Если же объект обладания представляет собой отчуждаемый предмет, не обладающий притом, с точки зрения говорящего, особой ценностью, то для его обозначения есть иные средства, ср.: *наступить на ковер соседа, сломать Машин карандаш, целовать ваши руки, помять Петину тетрадку* и т.п.

Именно на фоне этой нормы воспринимаются как отклонения те случаи, когда в роли посессора выступает неживая субстанция или же в качестве элемента личной сферы — случайный предмет. В этом смысле плохо выглядит по-русски не только фраза *Я поцарапал чемодану крышку* (где нарушено одно условие: здесь в качестве посессора выступает неживой предмет, чемодан), но и фраза *Я поцарапал Маше чемодан* (где нарушено другое условие: чемодан, а это вполне отъемлемая принадлежность, выступает тут в качестве постоянного объекта обладания). По крайней мере, стилистически оба эти высказывания небезупречны. Сошлюсь в подтверждение этого на мнение уже знакомой нам исследовательницы С. Димитровой, которая, сравнивая примеры *Я наступил Ивану на ногу* и *Я наступил Ивану на ковер*, считает второй просто «невозможным» (Димитрова 1994, 147).

Тем не менее в художественных текстах подобные конструкции иногда встречаются, ср. цитаты:

Вчера я поймал их за тем, что они лежали на полу и **выкалывали глаза семейным фотографиям** (В. Кин. По ту сторону).

Жена как раз из магазина возвращалась. Ей еще **кефир прострелили**. Но ты только не плачь, тетя (М. Задорнов. Все нормально, тетя!).

Из-за этих газовых плит у нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы **открывали им духовки**, дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали дверки, зачем? (С. Соколов. Школа для дураков).

А за стенкой кто-то пьяный,
В зимней шапке и галошах,
Тыкал в клавиши роялю
И смеялся

(Р. Мандельштам. Качания фонарей)

Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу
(А. Вознесенский. Похороны Гоголя Николая Васильича)

Категория посессора является скрытограмматической: собственных грамматических средств выражения у нее нет; она осознается, как мы видим, благодаря особым функциям падежных форм. Однако на шкале «правильно — неправильно» данная категория создает немало спорных случаев. Хорошо ли звучит «открывать плитам духовки» или «тыкать в клавиши роялю»? Или вот в одном зарубежном пособии по русскому языку без специального комментария среди прочих приводится следующий пример: *Она наступила ему на портфель.*

Как можно объяснить колебания в оценке таких фактов? Здесь не обойтись без помощи когнитивной лингвистики. Нам придется вернуться к фреймовому представлению ситуаций, к полевой структуре концепта. Возьмем случай *Я сломал ему руку* — с точки зрения русского языка, он совершенно правилен. Здесь представлены посессор и неотчуждаемая принадлежность. *Я сломал ему карандаш* — высказывание выглядит довольно странно, потому что карандаш — случайный и мало-значимый объект обладания. Надо сказать: *Я сломал его карандаш*. А, допустим, *Я поцарапал ему машину* — это правильно или неправильно? Так, конечно, говорят. Машина (автомобиль) — отчуждаемый предмет, но при этом весьма значимый для человека. Это меняет отношение к объекту, и свидетельство тому — возможность конструкции, в которой присутствует дательный падеж посессора.

Еще пример. *Я порвал Машину платье* сказать можно. При этом платье, возможно, висело в шкафу или на спинке стула. А вот сказать с использованием формы дательного падежа: *Я порвал Маше платье* тоже можно, но при этом платье, скорее всего,

было в это время на Маше, оно было ей, так сказать, ближе, чем то же платье, висящее на спинке стула. Значит, платье может с помощью языковых средств вводиться в личную сферу человека или, наоборот, исключаться из нее!

Вообще личная сфера говорящего — тема, заслуживающая особого обсуждения, в том числе с когнитивных позиций. По мнению Ю.Д. Апресяна, личная сфера включает в себя самого говорящего и «всё, что ему близко физически, морально, эмоционально или интеллектуально — некоторые люди, плоды труда человека, его неотъемлемые атрибуты и постоянно окружающие его предметы, природа, поскольку он образует с ней одно целое, дети и животные, поскольку они требуют его покровительства и защиты, боги, поскольку он пользуется их покровительством, а также всё, что находится в момент высказывания в его сознании» (Апресян 1986, 28). Правда, подобное всеобъемлющее понимание личной сферы трудно верифицировать с помощью языковых данных. Однако через такие глубинные категории, как «свое/чужое», «причастность/сопричастность», «ответственность/контроль», личная сфера концептуализируется, воплощаясь в том числе в особенностях синтаксического поведения лексем (см.: Ким 2009).

Мы уже не раз сталкивались в предыдущем изложении с размытым, нежестким характером классов, устанавливаемых нашим языковым сознанием. И в случае с посессором мы можем убедиться в этом еще раз. С одной стороны, границы личной сферы субъекта характеризуются нечеткостью, расплывчатостью (в частности, какие-то дорогие субъекту аксессуары могут вводиться в этот круг), а с другой стороны, в роли посессора, благодаря метонимическим или метафорическим переносам, может выступать и неживой предмет. Но вряд ли можно спорить с тем, что, по крайней мере, некоторые из приведенных выше примеров, нарушающих правила лексико-синтаксического согласования (*тыкал в клавиши роялю, ей кефир прострелили* и т.п.), содержат дополнительную экспрессию, элемент игры с языком и заведомо рассчитаны на определенный эстетический эффект. Значит, синтаксические конструкции — весьма гибкий инструмент, пригодный не только для классификации привыч-

ных, «типовых» явлений действительности, но и для отражения конкретной, «сиюминутной» ситуации, плохо вписывающейся в перечень стандартных положений дел.

Еще один пример внутренней связи синтаксических и лексических значений — финитивные (целевые) отношения. В современном русском языке они могут выражаться разными грамматическими средствами. Одно из них (при глаголах движения) — сочетание предлога *по* в сочетании с винительным падежом. Значение «предметной цели движения» легко реализуется в случаях с природными сущностями (*пойти по грибы, по ягоды, по орехи, по дрова, по воду...*). Следует подчеркнуть естественный характер этих целей: перед нами природные объекты, необходимые для поддержания жизнедеятельности человека. Понятно, что устойчивость этих выражений имеет корни в народной культуре и закрепляется в речевой традиции. Заметно «хуже» выглядят сочетания вроде *пойти по цветы, по молоко, по шерсть* (*Пошел по шерсть, а вернулся стриженным* — гласит старая русская пословица). И уж совсем невозможными выглядят в составе такой конструкции названия артефактов. Нельзя, с точки зрения нормы литературного языка, сказать: «пойти по книги (по тапочки, по бензин, по запчасти)». Нельзя употребить в данной конструкции и названия живых существ: невозможно «пойти по соседа (по милиционера, по сестру)» и т.п.

Впрочем, в современной художественной литературе встречаются и такие исключения, ср.:

Человек с незаконченным университетским образованием не **пойдет по старушку**, вооружившись украденным топором... (В. Пьецух. Новая московская философия).

Но это — единичные примеры, обусловленные либо влиянием диалектной речи (в которой подобные формы распространены довольно широко), либо опять-таки своего рода игрой писателя с читателем, нацеленной на дополнительный эффект.

С позиций когнитивной лингвистики интересна и еще одна деталь. В некоторых русских говорах не говорят *пойти за грибами*, а предпочитают *пойти по грибы*. Деревенские жители объяс-

няют это так. Согласно древним верованиям, грибы — мифические существа, и если пойти за ними, то они могут завести туда, откуда не выберешься. Казалось бы, чисто грамматическое различие: *за грибами / по грибы* оказывается обусловлено системой духовных ценностей.

Заметим, что рассмотренные только что словосочетания допускают лексическое варьирование в обеих своих частях — то есть можно сказать как *по грибы, по воду, по дрова* и т.д., так и *пойти, поехать, отправиться, выбраться* и т.д. Иными словами, считать обороты типа *пойти по грибы* фразеологическими единицами невозможно. Вместе с тем нельзя не видеть того, что ограничения, налагаемые на лексическую реализацию предложноподлежащей конструкции, так или иначе ведут к ее постепенной фразеологизации.

Мы убеждаемся, что во всех проанализированных типах конструкций лексика и грамматика кооперируют свои усилия в процессах производства и восприятия текста. С одной стороны, синтаксические конструкции нуждаются в лексике, которая подтверждала бы заложенные в них комбинации семантических ролей. С другой стороны, участие в синтаксических построениях определенного вида помогает словам реализовать свое значение (а иногда и приобрести новое, нетривиальное значение!). Именно «исключительно высокая степень лексикализованности» признается учеными в качестве одной из наиболее интересных черт русского синтаксиса (Апресян [и др.] 2010, 19).

Есть целый ряд синтаксических признаков, который маркирует такие лексико-семантические группы в русском языке, как «человек», «родственники», «части тела», «инструмент», «пространственные параметры», «отвлеченные сущности», «эмоции» и т.п. Тем самым грамматическая форма не просто «шифрует» лексическое значение, относя его к той или иной рубрике, к той или иной лексико-семантической группе, но и помогает слову «вписаться» в ряд основополагающих ментальных категорий. Можно предположить, что чем глубже, чем основательней данный концепт для данной этнокультуры, тем обязательнее «подтверждение» его лексического выражения синтаксическими средствами. И, наконец, нет ничего удивительного в том, что

кооперация лексических и синтаксических значений приводит к фразеологизации синтаксических моделей: эти два вида значений проникают, «просачиваются» друг в друга, и как результат конструкции могут стать идиоматичными.

Через фразеологизованные синтаксические модели, через конструкции «малого синтаксиса» обнаруживает себя способ классификации мира, свойственный данной культуре.

Для иллюстрации этого положения приведем здесь один сопоставительный пример из родственного русскому болгарского языка. Это особая синтаксическая конструкция со значением эмоционального состояния субъекта. В славянских языках есть некоторый типологически общий фонд синтаксических моделей, обозначающих физическое и психическое состояние человека, типа русск. *Ему страшно; Пете лень; Антон Иванович сердится; Медведь в ярости; Я в сомнении* и т.п. Им нетрудно подыскать соответствия в других славянских языках.

Но есть и модели специфические. Одной из них является в болгарском языке конструкция типа *Мечка страх, мене не* (это поговорка, она идиоматична и переводится как 'была не была'. Но буквально она означает 'медведя — страх, меня — нет'). Эта структурная схема состоит из двух обязательных компонентов. Первый — предикат состояния, выраженный названием эмоции (обычно в сочетании с глагольной связкой; в данном случае она отсутствует), здесь это — *страх*. А второй компонент — субъект этого состояния, выраженный личным местоимением в винительном падеже; здесь это *мене* (местоимение может также дублироваться именем существительным).

Конструкция является лексически связанной, т.е. фразеологизованной. Грамматически она может изменяться, обладая парадигмой времени и склонения (ср. болгарские примеры: *Страх ме е* 'Мне страшно'; *Еленка я беше страх* 'Еленке было страшно'; *Да ме беше страх — не* 'Чтоб мне было страшно, так нет'; *Страх го било* 'Якобы ему было страшно' и т.п.). Но лексически она несвободна; в позиции предиката может выступать весьма ограниченный набор слов. Фактически это 10 лексем: *гнус* 'отвращение', *гняв* 'гнев', *грижа* 'забота, хлопоты', *грях* 'грех', *гъдел* 'щекотка', *еня* 'забота, тревога', *мързел* 'лень', *срам* 'стыд',

страх (с тем же значением, что и в русском), *яд* 'злость, гнев'. Внешне они похожи на существительные (и перевод тут может дополнительно ввести в заблуждение), но по сути таковыми не являются. Они лишены типичных свойств существительного: не имеют числа, согласовательного рода и категории определенности (не принимают в такой ситуации артикля, характерного для болгарского языка), не могут быть определены прилагательным. Это слова категории состояния или, в другой терминологии — предикативы (Ю.С. Маслов). Правда, у нас получается не очень удачно: «в роли предиката выступает предикатив», но уж придется простить лингвистической терминологии некоторые несообразности.

С когнитивных позиций данная специфическая модель представляет собой интерес прежде всего своим «подбором» чувств. Список эмоций здесь закрыт (ни, допустим, боль, ни смех и т.п. в него не входят), и для нас он выглядит довольно странным (забота соседствует со щекоткой!). Но, по-видимому, в архаичном народном сознании именно таким образом сгруппировались неуправляемые и неясные ощущения. А современный носитель болгарского языка, у которого есть выбор между разными синтаксическими моделями, этого практически не замечает.

Подобные сопоставления с фактами других языков интересны, очевидно, не только своей «экзотичностью», но и тем, что позволяют посмотреть на свой родной язык со стороны, глубже познать его природу. Вот так и русские безличные конструкции типа *Мне не спится*, *Ему не гуляется*, *Коле не сидится дома* труднопереводимы на другие, неславянские языки. Что значит *Мне не спится*: это 'я не сплю'? 'Я не могу заснуть'? 'Я не хочу спать'? 'У меня нет условий, чтобы я заснул'? В позиции субъекта состояния здесь может быть употреблено название любого живого существа (ср.: *Собаке не спится*), но вот список предикатов практически не выходит за пределы десятка глаголов. И некоторые исследователи (в частности, уже упоминавшаяся Анна Вежбицкая) прямо связывают эту конструкцию с особенностями русского менталитета, с неконтролируемостью и иррациональностью поведения русского человека. Другие же линг-

висты возражают: нет, это просто часть «языковой техники», закрепленный в языке способ обозначения ситуации, субъект которой «отодвинут» на вторые позиции...

Итак, через ограничения, налагаемые на лексическое заполнение позиций, синтаксические модели подвергаются фразеологизации. Благодаря своему идиоматическому характеру конструкции «малого синтаксиса», в том числе рассмотренные в данной главе, участвуют в формировании национальной специфики языка.

ПРЕДИКАТ И ЕГО СИНТАКСИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Данная глава будет посвящена предикату. В традиционной русской грамматике принято название *сказуемое*. Чем латинский термин *предикат* лучше? Только тем, что он сразу отсылает нас к другой научной парадигме. Сказуемое — привычный со школьной скамьи член предложения. Вместе с подлежащим он входит в привилегированную группу «главных членов предложения». А на вопрос, кто из них «главнее», однозначный ответ — подлежащее (сказуемое согласуется с подлежащим, значит, подчинено ему).

Название же *предикат*, прочно отвоевав себе место в логике (где предикат вместе с субъектом образует суждение), переключало затем в новейшую лингвистику, в семантический синтаксис. Тут главная его особенность — единоначалие. Предикат, фокусируя в себе суть типовой ситуации, определяет ее структуру, задает некоторое количество позиций зависимых членов. А тому, что в традиционной грамматике называется подлежащим, в предикатно-актантной структуре отводится место в общем ряду этих членов.

Использованная Л. Теньером метафора (предикат — «режиссер маленькой драмы», а остальные носители семантических ролей — ее участники, или «актанты») оказалась очень удачной и живучей. Действительно, предикат — это «хозяин» фразы, ее распорядитель. Именно он определяет структуру модели, по которой высказывание будет строиться. От предиката зависит «увиденное» говорящим количество участников ситуации и их качество. Мы это уже видели на приводившемся примере с Кларой и Карлом.

Конечно, в типичном случае предикат выражается глаголом. Исключительная роль этой части речи обусловлена заложен-

ным в ней синтаксическим потенциалом, способностью управлять разветвленной системой зависимых позиций (обычно, для разных предикатов, числом от 0 до 5). Причем *управлять* употреблено здесь не в терминологическом значении, а в общепринятом. Потому что среди этих подчиненных членов могут быть и обозначения места, и степени, и т.д. — просто предикат своей семантикой требует их реализации. Строго говоря, предикат не является участником ситуации: он — то **отношение**, которое связывает между собой ее участников.

Даже если говорящий, начиная фразу, еще не может назвать участников ситуации (он их просто не опознает, не идентифицирует), он все равно должен выполнить синтаксические обязательства, и заданные предикатом позиции заполняются местоименными субститутами, как в следующих случаях:

Подойдя к гостинице, я видел, что *кто-то* в темноте по улице преследует *кого-то*. Оба — преследующий и преследуемый, — вбежали на крыльцо (И.А. Гончаров. Фрегат Паллада; любопытно, что слова *кто-то* и *кого-то* писатель сам выделил в тексте курсивом).

Этого публика не ждала и принялась судить и рядить, **кто, что и кому** посылает во втором ящике (М. Шагинян. Месс-Менд).

Помню, в детстве еще, часами, вежливо улыбаясь, сидел над неподвижным поплавком, стесняясь бестактным своим уходом огорчить... **кого?**! Рыбу? Поплавок? Абсолютно непонятно (В. Попов. Жизнь удалась!).

У Ежи Куриловича есть ряд статей, в которых он рассуждает об особой синтаксической миссии сказуемого (=предиката). Высказывание без глагола (именное, междометное) — для ученого в некотором смысле исключение, возможное только благодаря определенным контекстуальным условиям. Данный тезис, вообще говоря, стоило бы прокомментировать, и мы к нему еще вернемся, когда будем говорить о номинативных предложениях. Но сейчас для нас важно понимание глагола как репрезентативного члена фразы. Прочитируем польского ученого: «С точки

зрения грамматики, сказуемое — это член предложения, представляющий все предложение» (Kuryłowicz 1971, 42).

Ну а если мы имеем дело с глаголом *вне* предложения — скажем, в словаре? Можем ли мы тогда в полной мере представить себе и описать его значение? Кажется, в таком случае мы имеем дело с несколько искусственной или парадоксальной ситуацией (если в глаголе нам важна не его номинативная сторона, а организующая роль). Не случайно некоторые словари дают при глаголах (обратим внимание: именно при глаголах!) их важнейшие синтаксические характеристики. Как правило, это указание на обязательный объект. Например, в Словаре Ожегова читаем: ЗАВЕРИТЬ... 1. *кого (что) в чем...* 2. *что...* МАХАТЬ... *чем...* ОПУСТОШИТЬ... 1. *что...;* 2. *перен., кого-что...* ПОМОЧЬ... *кому...* и т.п. И все равно это — неполная и условная характеристика синтаксического поведения глагола. *Махать чем* в словаре есть, а *махать кому* нету, *помочь кому* есть, а *помочь в чем* нету...

И мы ведь признаём, что в отдельных случаях количество подчиненных предикату обязательных членов может быть равно нулю. Вот как об этом писал автор «Основ структурного синтаксиса» Л. Теньер: «Глаголы без актантов выражают процесс, который разворачивается сам по себе и в котором нет участников. <...> Поднявшийся занавес открывает сцену, на которой идет дождь или снег, но нет актеров» » (Теньер 1988, 121—122). При этом французский лингвист имел в виду высказывания, обозначающие в первую очередь атмосферные явления, вроде латинского *Pluit* 'дождит' или русского *Смеркается*. Но одно дело — глагол с нулевой «валентностью» (это весьма редкий случай), а другое дело — глагол как лексическая единица в отвлечении от его синтаксического потенциала. Это ситуация не такая уж редкая. И она заслуживает специального внимания языковедов.

Человеческому сознанию иногда бывает нужно абстрагироваться от фреймового устройства ситуации, а ограничить поле зрения понятием. Такой «лексикографический» подход не чужд и обычному человеку. И в некоторых дискурсивных условиях он вполне естествен. Что имеется в виду?

Лексическое значение глагола в отрыве от его синтаксического окружения оказывается, в частности, достаточным в рамках однофразовых текстов обобщенного характера. Это поговорки, афоризмы, сентенции и т.п. Все они, обобщая познавательный опыт социума, рисуют, так сказать, некоторый «образец поведения», т.е. наделены дидактическим, нравоучительным, морализаторским смыслом. Вот, скажем, крылатое выражение *Бороться и искать, найти и не сдаваться*, восходящее к повести В. Каверина «Два капитана». Смешно было бы спрашивать, **за что бороться, что искать и кому не сдаваться!** Точно так же нас вполне устраивает глагол, употребленный абсолютно или с неполным набором актантов, в составе многих русских пословиц, ср.: *Кто ищет, тот всегда найдет; Дают — бери, бьют — беги; Хуже всего на свете это ждать и догонять; Умный научит, дурак наскучит; Не обманешь — не продашь; Лучше дать, чем взять* и т.п. Глаголы здесь — только знаки действий и состояний, но не целых ситуаций. Фигурально выражаясь, это глаголы, но не предикаты! И законы малых жанров фольклора такому употреблению способствуют.

Другое дискурсивное условие, облегчающее «безактантное» (абсолютное) употребление глагола, это помещение его в сочинительный ряд. Тут глагол как бы чувствует поддержку от своих соседей, таких же «понятийно-лексикографических» единиц, и вместе с ними образует некоторую номенклатурную перспективу. Рассмотрим это на примере цитат из художественных текстов.

Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую. И кругом **стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались** — и ничего не ведали (Б. Пастернак. Охранная грамота).

Но к той поре работать она совсем разучилась, да и не хотела, и ее все время держали на должностях, где можно и нужно много **говорить, учить, советовать, бороться**, но ничего при этом не делать (В. Астафьев. Печальный детектив).

А суматоха на улице была ей хорошо известна, Лир всегда так **встречали, гудели, свистели, хлопали, толпились** и т.д. (Л. Петрушевская. Королева Лир).

В редакции, где я работаю, как нарочно, подобрались одинокие женщины и мужчины-бездельники. Они сидят в буфете, курят на лестничной площадке. Все надо **перепроверять, напоминать, кричать, угрожать, льстить** (В. Токарева. Здравствуйте).

Повторим, что перед нами ситуации в каком-то смысле парадоксальные, обусловленные особыми дискурсивными предпосылками. В нормальном же случае предикат немислим без своего актантного окружения. «Короля играет свита» — есть такой старый афоризм. Так и в случае с предикатом: приданные ему актанты определяют суть отношения, им выражаемого. И, поскольку лексическая и синтаксическая семантика в глаголе переплетаются, «проникают друг в друга», то это находит свое отражение в лингвистических описаниях. В том числе в таком понятии синтаксиса, как управление.

В русистике управление традиционно выделяется на фоне других типов подчинительной связи — согласования и примыкания (иногда к ним добавляется четвертый вид — взаимосогласование, или координация). При этом устанавливается и механизм действия подчинительной связи. Припомним замечательные по своей четкости дефиниции М.В. Панова: «Если в словосочетании АБ основа слова А вызывает определенную флексию у слова Б, то налицо связь управления <...> Если лексема А в сочетании с лексемой Б может использовать все свои флексии, а лексема Б — не все, то А — главный член, а Б — зависимый <...> В сочетании *пишет письмо* глагол использует все свои флексии, а существительное только одну; оно зависимо» (Панов 1966, 103). Данные положения можно считать уже классическими, но это не значит, что они не могут далее развиваться и уточняться.

Согласно современному вузовскому учебнику «управление — выбор падежной формы имени существительного (или местоимения) под влиянием грамматической формы или семантики господствующего члена» (Русский язык 2001, 641).

Правда, при этом вызывает вопрос устанавливаемое авторами отношении дизъюнкции: в определении сказано «под влиянием формы или семантики» — так что же именно влияет на выбор падежа? Если брать классические случаи вроде *заплывать за что? — за буйки, отталкиваться от чего? — от берега, влюбиться в кого? — в одноклассницу*, то в них обнаруживается влияние и значения, и формы главного слова (глагольная приставка диктует выбор предлога). Но для всех ли случаев управления такое объяснение действительно?

Кроме того, управление бывает разной силы, более обязательным и менее обязательным. Глагол может требовать для реализации своего значения не управляемой, а примыкающей формы (например: *Люблин находится где? — в Польше, далеко, близко, на юг от Варшавы* и т.п.). Управление никак не соотносится с фреймовым представлением референтной ситуации. Образующие фрейм слоты выстраиваются в некую иерархию, но к грамматической зависимости она, в общем, отношения не имеет. Трактовка же синтаксической модели как предикатно-актантной структуры выстраивает все подчиненные глаголу члены в один ряд, в том числе и подлежащее получает статус одного из «управляемых» членов.

Все перечисленные моменты заставляют некоторых современных синтаксистов отказываться от понятия «управление» в пользу более общего — «подчинение», или «зависимость». Тем не менее управление остается важной частью грамматической теории в ее традиционном понимании, в том числе применительно к школьному и вузовскому преподаванию. Прежде всего оно позволяет объединить глаголы в лексико-семантические группы на основании их общего синтаксического признака.

Рассмотрим этот тезис на примере одной лексико-семантической группы. Так, глаголы говорения (передачи информации) обладают в русском языке надежным диагностирующим признаком: это способность сочетаться с существительным в предложном падеже с предлогом *о(б)*, например: *Мы говорили (разговаривали, беседовали, спорили, дискутировали, кричали) о футболе. Нас известили (оповестили, проинформировали, поставили в известность) об отмене концерта. Петя мне рас-*

сказал (поведал, написал, отчитался) о своем путешествии. Дежурному сообщили (сказали, объявили, передали, позвонили) об аварии и т.п. Та же самая семантическая роль (научное ее название — делибератив) имеет в русском языке и другую форму выражения — это предлог *про* + винительный падеж. *О чем-то* и *про что-то* выступают как морфологические варианты. Правда, эта вторая форма несколько более «скована» в своем поведении. Можно сказать: *Мы говорили про футбол, Петя мне рассказал про свое путешествие, Дежурному сообщили про аварию*, но *Нас известили про отмену концерта* мы, скорее всего, не скажем.

Итак, в исследовании системы предикатов мы можем идти «от синтаксиса к лексике». Это значит — опираясь на синтаксические признаки, использовать их как критерии для установления лексико-семантических классов глаголов. В таком случае управление для нас — не столько способ синтагматической связи между словоформами в тексте, сколько **способ организации лексического состава в его парадигматических отношениях**. Иными словами, ценность управления оказывается не в том, что оно воплощает грамматическую связь между предикатом и конкретным актантом в формирующемся высказывании (эта связь и без того очевидна), а в том, что оно сигнализирует, уточняет значение глагола, относя его к тому или иному лексико-семантическому классу. Наиболее отчетливо эту мысль выразил в свое время Ю.Д. Апресян: «...Фиксируя сходства и различия в синтаксическом поведении языковых элементов, или, что то же самое, в их синтаксических признаках, мы можем делать объективные заключения об их семантических сходствах и различиях» (Апресян 1967, 24–25). «...Связь между семантическими и синтаксическими признаками проявляется в пределах всего словаря в том, что слова с одинаковым или сходным значением имеют одинаковые или сходные наборы синтаксических признаков, и наоборот» (Там же, с. 26).

Правда, позже сам Ю.Д. Апресян отказался от «старой идеи системного разворачивания классов и подклассов на основании общности их чисто синтаксических (управляющих и трансформационных) свойств» (Апресян [и др.] 2010, 289). Действительно, однозначного соответствия между семантическими и

синтаксическими признаками управляющего слова ожидать не приходится.

Построение по-настоящему строгой классификации, основанной на формальных признаках, требовало бы привлечения и других критериев — в частности, полноты словоизменительной парадигмы глагола, его словообразовательного (видового) потенциала и т.п. Попытку такого рода предпринял тамбовский языковед А.Л. Шарандин; одна из его книг посвящена «лексической грамматике». В ней рассматриваются под особым углом зрения разные части речи, в том числе и существительное, и прилагательное. А применительно к глаголам выделяется 19 «лексико-грамматических разрядов», для каждого из которых характерна своя комбинация граммем вида, залога, лица, числа и т.д. (с учетом и некоторых особенностей их синтаксического поведения). Получается, что грамматические категории по-своему «шифруют» лексическое значение. Скажем, глаголы типа *командовать*, *врать*, *учиться* и многие другие не имеют форм страдательного залога. Лексемы *бить*, *знать*, *катить* не имеют пар совершенного вида, но входят в разнообразные противопоставления по способу действия (ср.: *разбить*, *отбить*, *перебить* и т.п.). Глаголы типа *бодаться* 'иметь свойство бодать', *биться* 'иметь свойство разбиваться' оказываются выключенными из временной парадигмы... Выделенные А.Л. Шарандиным разряды обладают, естественно, разной «мощностью», т.е. способностью включать в свой состав то или иное количество лексем. Процитируем обобщающий вывод автора: «Описание глагольных лексем русского языка показало, что они избирательно относятся к набору не только форм той или иной категории, но и набору грамматических категорий вообще. <...> Другими словами, лексическая семантика лексемы в целом оказывается тем содержанием, которое обуславливает строго определенные модели сочетаемости грамматических категорий и их представленность в том или ином наборе морфологических форм» (Шарандин 2001, 254).

И все же упомянутые 19 разрядов обладают очень малой разрешающей силой (различительной способностью): классы получились емкие и семантически нечеткие, плохо соответствующие интуитивным представлениям носителя языка.

По-видимому, без детального учета особенностей синтаксического поведения глагола описать его лексическую семантику невозможно. Даже если не претендовать на установление между лексикой и синтаксисом категорической зависимости, а довольствоваться идеей нежестких «предпочтений», связь эту легко показать на конкретных примерах. Приведем следующий поучительный текст:

Перепуганный зайчонок прибежал домой.

— Папа, за нами охотятся!

— За нами охотятся или на нас охотятся? — уточнил старый заяц. — ...Последний раз объясняю: если **охотятся за нами**, это значит, что нас хотят только поймать. А если **на нас охотятся**, это значит, нас хотят убить. Чувствуешь разницу? (Ф. Кривин. Времена глагола).

Указанное различие в лексических значениях *охотиться* ('поймать' и 'убить') непосредственно связывается с синтаксическими признаками, намекающими на вхождение данного глагола в определенную лексико-семантическую группу. *Охотиться за кем-то* — это как *бежать*, *гнаться за кем-то*, а *охотиться на кого-то* — как *нападать*, *набрасываться на кого-то* и т.п. Получается, что благодаря типу синтаксической связи глагол вступает в определенный парадигматический ряд, если угодно — «подыскивает» себе синонимические соответствия. Значение отдельного слова проецируется на семантику целого класса; поэтому управление целесообразно изучать как свойство не отдельной лексемы, но целой лексико-семантической группы.

Описывая систему предикатов, мы вправе избрать и другой путь: «от лексики к синтаксису». Это значит — группировать глаголы, исходя из наших представлений об их значении. А фактически мы опираемся в таком случае на свой когнитивный опыт, на соотнесение глагольных лексем с понятиями, сложившимися в нашем сознании (вспомним то, что говорилось ранее об абсолютном употреблении глаголов). Этот путь более привычен для лексикографии. Конечно, бинарное деление на «действия» и «состояния» в данном плане крайне несовершенно, и даже если мы к нему добавим третий класс — «отношения», это не решит

проблемы. Лексико-семантические группы должны иметь более конкретный и обозримый вид.

Такой путь избран, в частности, в уже упоминавшемся «Экспериментальном синтаксическом словаре» под редакцией Л.Г. Бабенко. Здесь, скажем, под общей шапкой «Речевая деятельность» различаются предложения, отображающие «ситуацию характеризованной речевой деятельности», «ситуацию речевого сообщения», «ситуацию речевого общения», «ситуацию речевого обращения» и «ситуацию речевого воздействия» (РГПЭСС 2002, 191—207). Вся классификация носит дедуктивный характер: от общего к частному. А то, что в рамках одного подкласса глаголы характеризуются совершенно разными синтаксическими признаками, составителей словаря не волнует. Скажем, к последнему из перечисленных подклассов относятся такие лексемы, как *бранить*, *выговаривать*, *ехидничать*, *набрасываться*, *насмехаться*, *придираться*, *сквернословить*, *славословить* и т.д., управляющие разными падежами, с разными предлогами, а то и вовсе склонные к абсолютному (безобъектному) употреблению.

В то же время подход «от лексики к синтаксису» позволяет заострить вопрос на том, какие же именно зависимые позиции являются для данного предиката обязательными? Какие актанты минимально необходимы для реализации его значения?

Вопрос этот имеет и теоретический аспект. Это — подразделение предикатов на нуль-валентные (*смеркаться*), одновалентные (*спать*), двухвалентные (*называться*), трехвалентные (*передать*) и т.д. (вплоть до, как уже говорилось, «магического» числа 5). И мы возвращаемся к уже знакомой проблеме: влечет ли за собой смена валентности обязательные изменения в лексическом значении глагола? И наоборот: отражается ли сдвиг в лексическом значении на синтаксическом поведении слова?

Вот, допустим, глагол *читать*. Одно дело — *Девочка читает книгу*, другое — *Не мешай: девочка читает*, третье — *Девочка уже читает* (в смысле 'умеет читать'). По Ю.Д. Апресяну, в первом случае перед нами глагол «действия», во втором — «занятия», в третьем — «способности». Следует ли их так — по отдельности — и фиксировать в словаре? Не будут ли искусственными перегородки между этими значениями?

Другой пример. Понятно, что «считать что» (*Мама считает деньги*) и «считать кого кем» (*Мама считает Петю фантазером*) — это разные глаголы, каждый со своим типом синтаксического окружения. А, допустим, *Мама считает иначе* — это тот же глагол, что «считать кого-то кем-то», или еще один, третий, со значением ‘думать’? Не попадаем ли мы тем самым в излишнюю зависимость от синтаксических признаков?

Взаимосвязь между лексическими и синтаксическими значениями принадлежит к числу основополагающих имманентных свойств языка, она обусловлена самим устройством языковой системы. Вместе с тем это связь довольно гибкая, эластичная. Как это следует понимать?

Вот синтаксическая модель — предложенческий стереотип, хранящийся в памяти человека в готовом виде и, соответственно, воспроизводимый целиком. Он достаточно жёсток по сравнению с другими ментальными образцами (гештальтом, фреймом, сценарием). И, тем не менее, носитель языка, в соответствии с нуждами конкретной ситуации, может этот стереотип каким-то образом модифицировать. В частности, он может изымать, исключать из него какие-то актаны или, наоборот, добавлять к нему позиции, которые в иных контекстах считались бы факультативными, необязательными. Приведем примеры тех и других «вмешательств» в синтаксическую модель.

Ранее уже приводился случай с глаголами речи (передачи информации), которые обладают в русском языке четким диагностическим признаком: способностью сочетаться с существительным в предложном падеже с предлогом *о(б)*: *говорить, разговаривать, беседовать, рассказывать* и т.д. В то же время носителю языка прекрасно известно, что не обладают способностью такого управления глаголы *смеяться, ругаться, дружить, обманывать, огорчать, праздновать, сидеть, стрелять, пить, танцевать* и многие другие. Это автоматически выводит их за пределы лексико-семантической группы говорения. Если же подобные сочетания (*смеяться о ком* и т.п.) все же возникают (с экспрессивной или еще какой-то целью), то читатель или слушатель ощущает их «особенный характер» (несоответствие норме):

С этими людьми мне **не о чем пить** (Вен. Ерофеев. Из записных книжек);

Зачем думать, говорить, страдать, когда лучше петь, а еще лучше **об этом танцевать** (М. Жванецкий. Приветствие театру).

Ты говоришь веселым языком,
Таким веселым, что подумать страшно,
Где ты живешь и **празднуешь о ком**
(Д. Пригов. Не стал острее нож...)

С традиционных позиций мы имеем здесь дело с явными нарушениями норм глагольного управления («Так сказать нельзя!»). Но отклонения подобного рода в речи чрезвычайно многообразны, они охватывают и разные глаголы, и разные подчиненные (предложно-падежные) формы. Поэтому они нуждаются в каком-то когнитивном обосновании. Рассмотрим с этой целью еще несколько иллюстраций из русской художественной литературы.

— Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, — в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контрольным голосом мадам Петракова, — вот **их** бы следовало **разъяснить!** Ну, ничего, так и будет, их приведут в порядок! (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Скучно жить, мой Евгений. **Куда ни странствуй,**
Всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй!...»
(И. Бродский. К Евгению)

...Один, с бородой, на меня поглядел, чего-то своей бабе сказал, та тоже поглядела, и засмеялись оба. Я думаю: «Ты бы у нас во дворе **на меня засмеялся!**...» (М. Мишин. Под музыку Вивальди).

Римма подошла ко мне. Я захотела заглянуть в ее глаза и **возмутиться в эти глаза**. Но глаз не видно (В. Токарева. Римские каникулы).

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
А через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего

(А. Вознесенский. Романс)

Все приведенные цитаты содержат те или иные речевые «странности». И, в принципе, их можно подвести под один из двух видов объяснений. Назовем их условно «лексическим» и «синтаксическим».

Первые два примера как раз подходят под «лексическое» объяснение. *Разъяснить кого* употреблено тут вместо привычного *разъяснить что*; *странствовать куда* — вместо обычного *странствовать где* (или абсолютного). Эти сдвиги отражают изменения в лексическом значении предиката. Так, *разъяснить* в данном случае означает ‘разоблачить, вывести на чистую воду’ или же ‘проучить’. (Разумеется, надо учитывать и временной фактор. Дело в том, что *разъяснить* в сочетании с прямым дополнением «кого» в 1-й половине XX в. регулярно означал ‘разоблачать’. Но для современного читателя такое управление, несомненно, является нарушением нормы.) *Странствовать* же у Бродского из глагола, обозначающего занятие, окказионально переходит в группу глаголов со значением передвижения, перемещения в пространстве.

Отклонения от норм синтаксической сочетаемости, с одной стороны, напоминают об аккумулярованных в синтаксических моделях общих стандартах знания, которые выступают здесь в качестве фона. Ведь если конструкции типа *куда ни странствуй* останавливают наш взгляд, то это происходит именно потому, что они воспринимаются на фоне типового положения дел, в котором «странствовать» — это занятие (образ жизни). Отступления от норм управления по-своему подтверждают роль синтаксических моделей как инструмента концептуализации мира. С другой стороны, случаи несоблюдения правил подчинительной связи указывают нам на возможности расширения когнитивного опыта носителя языка: на это, собственно, и направлено изменение переня участников ситуации.

В трех остальных случаях нарушение нормы управления тоже можно объяснить «лексическим» путем, через цепочку метафор. Но проще объяснить их как результат происходящих в сознании говорящего структурных преобразований (о которых основная речь еще впереди). Это — второе из возможных объяснений — «синтаксическое». В частности, перед нами может быть результат стяжения более развернутой конструкции, переноса слов в иные синтаксические позиции и т.п. Так, *засмеялся на меня* можно возвести к исходному варианту *посмотрел на меня и засмеялся* или *засмеялся, глядя на меня*; *возмутиться в глаза* — к *посмотреть в глаза и возмутиться* или *возмутиться, глядя в глаза*; *царапнется в тебя* — к *уткнется в тебя и оцарапает* или *царапнется, как будто он целил в тебя* и т.п. (Естественно, мы допускаем тут определенную свободу толкований, но то же самое делает и обычный носитель языка, сталкивающийся с данными фактами речи.).

Целесообразность «синтаксического» истолкования наиболее очевидна в тех случаях, когда метафорический сдвиг в лексической семантике имеет уникальный, «разовый» характер. К примеру, глагол *скакать* в следующем примере окказионально выступает как глагол речи:

Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил:

— Ты чего скачешь?

А я сказал:

— Я скачу, что ты мой папа! (В. Драгунский. Что я люблю).

Найти скрытые семы, которые связывали бы действие «скакать» с действием «говорить», нелегко. «Лексическое» объяснение здесь затруднительно. Но все мы понимаем: *Я скачу, что ты мой папа* означает ‘я скачу, чтобы выразить радость от того, что ты мой папа’ или ‘...потому что хочу, чтобы все знали, что ты мой папа’ и т.п. — «синтаксическое» объяснение здесь легко ставит все на свое место.

Конечно, подобная «реконструкция» ментальных процессов несколько рискованна, когда ее осуществляет лингвист, но зато

она убедительно вводит «отрицательный речевой материал» в рамки языковых правил. Для самого же носителя языка не составляет особого труда возвести «неправильные» конструкции к их прототипам. Только не следует думать, что в конкретной ситуации говорящий или слушающий сам проделывает всю соответствующую мыслительную работу. Наряду со словообразовательными или синтаксическими моделями, в сознании обычного человека заложены готовые, отработанные модели семантических преобразований.

В свете сказанного не должны вызывать удивления и те речевые ситуации, когда говорящий произвольно исключает из состава модели какие-то актанты или, наоборот, добавляет к предикатно-актантной структуре «лишние» позиции. Приведем сначала примеры первого вида манипуляций:

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случилось особых потрясений — **она**, в основном, **протекала**. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев (А. Битов. Пушкинский дом).

Если не ошибаюсь, в районе станции три или четыре дачных поселка. А как называлась станция? — я никак не могу рассмотреть издали. **Станция называлась** (С. Соколов. Школа для дураков).

На комодике поблескивали вазы; розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной. **Мать штопала** (Л. Добычин. Ерыгин).

Анна Петровна Дочкина пасла. Она всегда с удовольствием шла на это свидание с природой (А. Кротов. Убийства в Полянске).

Понятно, что данные фразы воспринимаются читателем на фоне нормальных образцов типа «жизнь протекала как-то» или «где-то», «станция называлась каким-то именем»; «Мать штопала носки»; «Дочкина пасла козу» и т.п. Искусственное исключение обязательного участника ситуации приводит к ощущению обрыва, недосказанности. Читатель вынужденно останавливается в своей мыслительной работе, возвращается

глазами назад: так ли он понял? (Психологи в таких случаях говорят об «эффекте обманутого ожидания».) В то же время можно считать, что перед нами своего рода когнитивная провокация. В частности, у человека появляется сиюминутная возможность осознать протекание жизни как нейтральный процесс, не подлежащий оценке и конкретизации (*жизнь протекала*), узнать, что у станции было какое-то название, и этого достаточно (*станция называлась*), или же представить себе «штопанье» и «пастьбу» как занятие, а не как действие (*Мать штопала; Дочкина пасла*)...

А теперь приведем пример приписывания к синтаксической модели дополнительных членов. Мы можем сказать: *Сердце стучит* — окружение предиката *стучать* здесь самодостаточно: его составляет первый актанта *сердце*. Если прибавить к этому окружению обстоятельство (*громко, у меня, в груди, в тишине, от радости, как сумасшедшее* и т.п.), то содержание типовой ситуации не изменится. Это всё — сирконстанты, факультативные члены. Но вот у Виктора Конецкого в повести «Морские сны» читаем про ощущения человека, залезшего на высокое дерево: *Сердце отчаянно стучит в серый горячий ствол. Далековато будет отсюда падать*. Почему же словоформа *в ствол* переходит в число актантов к предикату *стучать*, становится важной для понимания положения дел (ср. в других случаях: *стучать в дверь* или *стучать в домино*)? По-видимому, самое естественное объяснение — допустить, что в сознании говорящего (писателя) изначально сформировалась некая более полная структура, которую можно представить примерно как *Сердце отчаянно стучит, и я это чувствую, упираясь в серый горячий ствол дерева*. А затем эта структура подверглась сокращению и упрощению, а словоформа *в ствол* изменила своего «хозяина», перешла к другому предикату.

Анализ предикатно-актантных структур особенно увлекателен в сравнении с фреймовым представлением ситуаций. В принципе это разные виды организации информации в сознании человека. Фрейм, или сценарий, есть стандартная форма закрепления в памяти разнообразного, прежде всего сенсорно-образного и предметного, опыта. А предикатно-актантная

структура, концентрирующая в себе пропозицию, отражает в обобщенном («типовом») виде те черты ситуации, которые кристаллизовались, отложились в коммуникативной практике.

Можно ли считать синтаксические модели такой же психологической реальностью, как фреймы? И обладают ли предикаты в этом смысле особой когнитивной ценностью?

В концепции речевой деятельности, принадлежащей известному психолингвисту А.А. Леонтьеву, особое место отводится Программе высказывания — этапу и своего рода зародышу будущего речевого сообщения. О структуре этой программы ученый писал так: «...Целесообразно допустить, что она не включает в себя коррелаты всех компонентов высказывания (например, слов), но лишь коррелаты тех его компонентов (типа субъекта, объекта, предиката), которые образуют его основной смысловой костяк» (Леонтьев 1969, 266). Важно, что тем самым фактически признается особая роль синтаксических моделей в деятельности говорящего.

В зарубежной психолингвистике известна концепция Уолтера Кинча. Он увязывает процесс восприятия и понимания речи с особенностями человеческой памяти. Содержащиеся в ней элементы лексико-семантической сети включаются в высказывание через пропозицию, состоящую из предиката и *n*-ного количества аргументов — уже знакомых нам единиц типа «агенса», «инструмента», «источника», «цель»; комбинация пропозиций развертывается далее по определенному сценарию в целый текст (Kintsch 1982, 342—347, 374—377).

Для Р.В. Лангакера, одного из столпов когнитивной лингвистики, категории вроде «агенса», «инструмента», «источника» и т.п. являют собой «концептуальные архетипы», которые динамически взаимодействуют между собой в процессе порождения фразы. (В соответствии с моделью «бильярдных шаров», один из элементов, вытесняя другой, становится на его место.) Это и определяет место предложенческих структур в когнитивной лингвистике (Langacker 2000, 9—43).

Рассмотрим, с учетом сказанного, еще одну, новую, ситуацию — «дружба». В нашем сознании соответствующий фрейм включает в себя огромный объем сведений: кто с кем обычно

дружит, в каком возрасте, могут ли дружить мужчина и женщина, чем дружба отличается от любви (вспомним знаменитое, у Аркадия Райкина, «Туда — о любви, назад — о дружбе» или не менее афористичное выражение Жванецкого «Не можешь любить — сиди, дружи»), на чем бывает основана дружба, в каких именно проявлениях она выступает, с чего начинается и чем заканчивается и т.д. Этот комплекс знаний подкрепляется для человека собственным опытом, информацией, почерпнутой из устных рассказов, литературы, фильмов и спектаклей и т.д.

А теперь обратимся к синтаксическому поведению русского глагола *дружить*. Представим себе человека, наделенного особой способностью дружить — человека контактного, открытого, дружелюбного... И все равно мы не можем сказать о нем: «Он дружит» (как *Он курит* или *Он путешествует*) — и поставить точку. В нормальном случае глагол *дружить* требует заполнения двух позиций: субъектной (*кто дружит*) и объектной (*с кем дружит*). Язык как бы направляет нашу мысль, помогает ей принять «положенную» форму. Но на фоне стандартного словоупотребления особый интерес представляют примеры отклонений в сочетаемости, вроде следующих.

Дружить Ø (абсолютивное употребление).

Дружить, бродить, шуметь охота,

Остричь, как прежде, невпопад...

(Е. Долматовский. Под лепестками вертолета)

Я продолжала учиться на крепкое «три», по литературе «пять», продолжала **ходить в спорткомплекс, дружить и развлекаться** (В. Токарева. Рождественский рассказ).

О том, что включение глагола в сочинительный ряд способствует его абсолютивному употреблению или, во всяком случае, облегчает его, речь уже была.

Дружить против кого.

Это сочетание уже почти привычно для русского уха и глаза. Кажется, первой его придумала артистка Фаина Раневская, поинтересовавшаяся в театральной среде: «**Девочки, против кого**

дружите?» Но вот уже и у другого артиста, Евгения Стеблова, вышла книга под названием «Против кого дружите?». Ср. также примеры из публицистики:

Киев решает, **против кого ему дружить** ... Вероятнее всего, отмечают эксперты, не станет и Киев дружить против России (Независимая газета. 20.02.2006).

Формулировка **«дружить против кого-то»** сама по себе не несет позитива (еженедельник «Контракты». 2007. № 40).

Дружить ради (во имя) чего.

С кем **дружить** и **во имя чего** (заголовок в журнале «Русский предприниматель». 2002. № 5—6).

Дружить во имя томичей (заголовок в газете «Томский вестник». 15.01.2008).

Дружить о чем.

Ира была девочкой неглупой, хотя **дружить** ей с Бронькой было совершенно **«не о чем»** (Л. Улицкая. Бедные родственники).

Дружить по каким-то дням (по праздникам, по субботам и т.п.):

Конечно, ведь нельзя **дружить по выходным**. Потихонечку и постепенно выветрилось все хорошее, что наполняло наш дом... («Косметичка». Еженедельный женский Интернет-журнал, доступ: <http://magazine.kosmetichka.ru/a806>).

Во всех приведенных примерах нашли свое воплощение какие-то периферийные и относительно случайные слоты фрейма «дружба». Вполне можно было бы ожидать появления в текстах также оборотов **дружить с какого-то времени (с детства, со школьной скамьи, со студенческих лет)**, **дружить как (семьями, классами, по-настоящему)**, **дружить где (в пионерлагере, на**

курорте), *дружить при условии (равенства в возрасте)* и т.п. Но понятно, что появление в тексте этих и других подобных распространителей характеризуется сравнительно низкой вероятностью.

Возможно, что фреймы и синтаксические модели соотносятся с разными механизмами нервной деятельности, которые психолингвисты называют двумя грамматиками: «правополушарной» и «левополушарной». Из них первая стремится к синтезу конкретных данных, она отвечает за глобальное, целостное представление информации. Вторая, наоборот, отвечает за ее структурированное, аналитическое представление. Исходя из этих предпосылок, А.А. Леонтьев прямо противопоставляет функции левого и правого полушарий как «речевую» и «когнитивную»: «По-видимому, различие речевых и когнитивных функций левого и правого полушарий головного мозга соотнесено как раз с различием «сетевого» и событийно-ситуативного представления, хранения и использования человеком информации» (Леонтьев 2003, 274). Естественно, однако, что в ходе человеческой деятельности эти две грамматики сталкиваются, взаимодействуют, влияют друг на друга. И объяснить случаи нестандартного глагольного управления (или, по-другому, отклонения от норм глагольной валентности) можно именно через взаимопроникновение предикатно-актантной и «фреймовой» моделей. Можно сказать, что нетипичная сочетаемость — это делегирование элементов фрейма в поверхностную структуру высказывания.

Конечно, соотнесение с фреймом снижает строгость синтаксической модели в сознании носителя языка, «размягчает» ее, делает ее менее категоричной и обязательной. Но избежать такого соотнесения невозможно, его требует многообразная практическая деятельность человека. Два указанных аспекта и способа мыслительной деятельности — номинативно-сетевой («когнитивный») и предикатно-актантный («коммуникативный») — только в совокупности обеспечивают социальные потребности индивида.

Следует добавить, что система предикатно-актантных структур, в целом универсальная для индоевропейского ареала, обладает в каждом языке и своей спецификой. Можно было бы на-

помнить здесь, в частности, уже приводившиеся примеры, типа русского *завидовать* и польского *zazdrościć*, русского *ссориться* и польского *kłócić się*. Но, как и в других главах, приведем под конец несколько сопоставительных примеров.

В белорусском языке от глагола *падабацца* 'нравиться' образуется дериват совершенного вида *спадабацца* 'понравиться'. Ему подчинены два актанта: объект чувства-состояния и субъект чувства-состояния («кто-то нравится кому-то»). Но от *спадабацца*, в свою очередь, возможно образование переходного глагола *спадабаць*. Пример из литературы: *Спадабала я тады брыгадзіра Міхася* (Я. Купала. Лён; 'понравился мне тогда бригадир Михась' или 'полюбила я тогда бригадиза Михася'). Кажется бы, лексическая семантика *спадабаць* — та же, что у *спадабацца*. Но синтаксическое окружение у него другое — то же, что у белорусских глаголов *кахаць*, *пакахаць*, *ацаніць*, *выбіраць* и т.д.: двухактантных предикатов со значением действия. Это создает трудности при переводе *спадабаць* на русский язык. Переводчик должен то ли соблюсти верность лексической и словообразовательной семантике и передать белорусский глагол как *понравиться*, то ли пойти на поводу у синтаксиса и предпочесть перевод *полюбить*.

Другой пример. Рус. *экономить* 'сберегать, тратить меньше, чем ожидалось бы' предполагает указание на субъекта экономии («кто экономит»), объект экономии («что экономят»: деньги, время, усилия и т.п.), а также, возможно, на способ экономии («на чем» или «чем экономят»: на проезде, на питании и т.п.): *Я экономлю время на пересадках*. Этим и исчерпывается набор актантов. Все остальные элементы референтной ситуации, образующие периферию фрейма — «за какой срок экономят», «на какие цели пойдет экономия» и т.п., — к синтаксической модели отношения не имеют. Невозможно примыслить к предикатно-актантной структуре и адресат: «кому» или «в чью пользу экономят». Все эти детали ситуации годятся только в распространители к выбранной модели, ср. возможное в речи: *За пять лет я сэкономила на поездках Мише на костюм*. В польском же языке глагол *oszczędzać* 'экономить, сберегать' вполне допускает третий актант со значением «кому, в чью пользу», а

для переносного значения эта семантическая роль оказывается очень важной:

Nie wszyscy są w stanie cierpieć, nawet kochając. Ja ból znoszę okropnie, więc **mi go oszczędź!** (K.J. Stryjski). Перевод: 'не все в состоянии терпеть, даже любя. Я боль переношу ужасно, так что ты меня от этого избавь!' (букв. «сэкономь мне это»).

I ten stary dureń to zrobił. Chciał **oszczędzić partii** ostatecznej **kompromitacji** (J. Hen. Oko Dajana). 'И этот старый дурак это сделал. Хотел уберечь партию от окончательной компрометации'.

Третий пример. В болгарском языке есть глаголы *осъмвам* и *замръквам*, которые тоже не имеют точных эквивалентов в русском. Словарь дает: *замръквам* — «быть застигнутым сумерками, наступлением ночи»; *осъмвам* — «засиживаться до зари, быть застигнутым рассветом». Но этот перевод весьма приблизителен, он отражает только лексическую сторону семантики. А как предикаты эти болгарские глаголы требуют заполнения двух синтаксических позиций: первый актант здесь — субъект состояния, второй — квалификатив или локатив. Общий смысл этих конструкций — «ночью (или утром) оказаться кем-то или где-то». Это наглядно проявляется в следующих литературных контекстах:

Не му казах страховете си, казах му само, че може да **замръкнат по пътя** — има още толкова път да извървят... (Й. Радичков. Скакалец). Перевод: 'я не поделился с ним своими опасениями, сказал только, что в дороге их может застать ночь — им еще столько идти...'

...Една сутрин Трифон Татаров **осъмна кмет** (И. Петров. Преди да се родя). 'Однажды утром Трифон Татаров проснулся старостой'.

Примеры такого рода подтверждают, что механизм взаимодействия синтаксических моделей и лексических классов фокусируется именно в предикате. Естественно, каждый язык обладает в данном плане своей спецификой. Она должна фикс-

сироваться или в грамматиках (там, где речь идет о лексической сфере действия грамматических правил), или в словарях (в объяснительной части, там, где указываются особенности синтаксического употребления глагольного слова в речи).

Существует ли в сознании носителя языка некая иерархия предикатов и образуемых ими синтаксических моделей? Можно ли считать, что какие-то из них — более активны и «популярны» в речевой деятельности?

На этот вопрос применительно к русскому языку попыталась ответить З.Д. Попова. Она сравнила частоту употребления в речи структурных схем, представляющих разные «синтаксические концепты», т.е. пропозитивные смыслы. На объеме около семи тысяч высказываний, выбранных из художественных текстов, оказалось, что примерно половину из них составляют пропозиции «бытие объекта» («кто/что есть где») и «агнс воздействует на объект» («кто делает что»). В то же время остальные «синтаксические концепты», вроде «самостоятельное перемещение агенса» («кто идет куда») или «пациенс претерпевает состояние» («кому есть каково») характеризуются значительно более низкой частотой использования (см.: Попова 2009, 106–107). По-видимому, эти данные в какой-то степени отражают объективные «преференции», заложенные в сознании носителя языка. Человек подходит ко всему многообразию референтных ситуаций с уже сложившимися стереотипами: одни синтаксические смыслы для его сознания естественнее и привычнее, чем другие. Но, разумеется, распределение «когнитивного внимания» согласуется с данными коммуникативного опыта, и наоборот. Мы видели, что, выбрав необходимую предикатно-актантную структуру, носитель языка имеет право обогатить ее смысл информацией, полученной другим путем, по другим каналам.

АКТАНТЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Итак, мы знаем, что предикат наделен в предложении/высказывании особой — организующей — функцией. Можно назвать ее и конститутивной: на предикате держится предложение. Актантам же отводится роль окружения предиката или, так сказать, его свиты. Значит ли это, что семантические роли типа «субъект», «объект», «адресат», «инструмент», «локатив» и т.п. представляют собой только элементы пропозициональной структуры и за ее пределами самостоятельного значения не имеют?

На этот вопрос следует ответить отрицательно. Конечно, в первую очередь актанты придают предмету (референту) ту или иную роль в составе ситуации. Но человеческое сознание в силу своей абстрагирующей способности может оперировать и частью — семантическими ролями — в отвлечении от целого — предикатно-актантных структур. Иными словами, актанты, отрываясь от «родных» синтаксических моделей, могут принимать и самостоятельное участие в концептуализации действительности.

Это значит, что наше сознание успешно использует и такие изолированные ментальные операторы, как «кто», «кому», «чем», «где», «зачем» и т.п. Наиболее очевидно это в определенных дискурсивных условиях. Одним из «тестов на самостоятельность» семантической роли может быть наделение соответствующего слова (точнее, словоформы) функцией высказывания. Мы ведь можем сказать «Тишина», «Неточка Незванова», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «В цирке», «Огнем и мечом», «О смелых и умелых» и т.п. В данном случае для примера взяты названия литературных произведений, но в принципе это разнообразные, полноценные и часто используемые в речи типы высказываний (вопреки тому, что писал о неглагольных фразах

Е. Курилович, а также некоторые его последователи). Но никакой предикатно-актантной структуры за ними не стоит.

Каждая семантическая роль располагает для своего выражения многообразными средствами. Это прежде всего морфологические показатели (аффиксы), а также служебные слова (предлоги и др.), позиция (место) в высказывании и т.д. К примеру, роль инструмента в современном русском языке может передаваться такими формами, как творительный падеж имени без предлога (*писать карандашом*), родительный падеж с предлогами *посредством, с помощью, при помощи* (*открыть дверь посредством ключа, забраться при помощи лестницы...*), родительный падеж с предлогом *из* (*стрелять из ружья*), винительный падеж с предлогами *через, сквозь* (*прокрутить через мясорубку*), творительный падеж с предлогом *с* (*читать с лупой*), творительный падеж с предлогом *под* (*рассматривать под микроскопом*), предложный падеж с предлогом *на* (*шить на машинке*) и т.д.

Однако из всего набора средств (имеются в виду прежде всего падежные и предложно-падежные формы существительных) какая-то форма оказывается для актанта наиболее «репрезентативной». Она наиболее регулярно и строго исполняет «свою» семантическую функцию и при этом наименее обусловлена контекстом (лексическими условиями и т.п.). Так, для субъекта действия наиболее типичной формой выражения является в русском языке именительный падеж существительного, для адресата — дательный падеж, для инструмента — творительный падеж и т.д. — это общеизвестно. Но соотношение семантической роли и формальных средств ее выражения заслуживает особого разговора.

Лингвисты давно отмечают процесс «обесценивания флексии» в русском языке и связывают его с переходом от одной синтаксической системы к другой: от «органической», или синтагматической, к «неорганической», или аналитической (Акимова 1990, 7—12). Правда, вывод этот делается главным образом на материале художественной прозы, но и в других сферах языка грамматика претерпевает определенные изменения. Возрастает роль отдельных частей высказывания, слабее выражаются подчинительные связи между словами (а также отдельными пред-

ложениями: паратаксис теснит гипотаксис), синтаксис в целом становится более «рассыпчатым». Конечно, эти новшества — результат влияния разговорной стихии, в которой царствуют такие явления, как именной темы, парцелляция, эллипсис, вставные конструкции, примыкание и т.п. В результате вместо иерархической системной организации высказывания мы имеем дело с фрагментарной и в каком-то смысле случайной структурой типа «набора слов». Вот реальный пример — отрывок из записей устной беседы, взятый из сборника «Русская разговорная речь. Тексты» (М., 1978). Две женщины в домашней обстановке разговаривают о попугаях:

Ну ничего // Ниче... (смех) Ладно // Еще к слову может придется // Действительно / могут ... может они будут нам мешать / тогда ... А посадить их обратно в клетку легко за ... м-м ... вернуть? Или нет?

Практически ни одно высказывание здесь не завершено, да и границы между синтаксическими единицами установить крайне трудно. Естественно, данные явления находят свое отражение и в художественных текстах при имитации потока сознания. Одна иллюстрация:

— ...**Отчего**, — ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил, как в бреду — быстро, несвязно — может быть, даже только думал. — **Тень** — за мною... **Я умер** — из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножами: у меня душа... **Неизлечимая**... (Е. Замятин. Мы).

Отказ от целостной организации высказывания проявляется и в других фактах. В частности, представляет интерес активизация в русском языке двучленных словосочетаний типа *Взрослым о детях, Из огня да в полымя, С бору по сосенке, Из грязи в князи, Руки в боки, Руки вверх, Ни в зуб ногой, С песней в дорогу, Судья на мыло, Горе от ума, В грудь навyleт, На яхте вокруг света, Привет родителям, Подарок в студию* и т.п. Они образуются без всякого участия глагола, а коммуникативная их самодостаточность очевидна: это поговорки, присказки, лозунги, заголовки и тому подобные мини-тексты.

Самое простое, по-видимому, — отнести эти факты речи к **неполным предложениям**, считая, что сказуемое в них может быть при необходимости восстановлено. Действительно, можно допустить, что под фразой *Подарок в студию* имеется в виду *Доставить подарок в студию*, под *Взрослым о детях* — *Взрослым рассказывается о детях* и т.п. Но во многих случаях такая процедура затруднительна, а иногда даже трудно себе представить, какой конкретный глагол можно было бы подставить в подобную конструкцию. Поэтому, скорее, права Н.С. Валгина, считающая, что неполнота данных синтаксических образований «является структурной нормой, и сопоставление их с полными конструкциями — это всего лишь условный прием для выявления их конструктивной специфики. Это вполне типизированные построения, не нуждающиеся в восстановлении каких-либо членов предложения...» (Валгина 1973, 201).

Двучленные конструкции (иногда в них находят особый вид связи — соотношение, или соприкосновение) укрепляются в сознании в результате их речевой «обкатки», систематического употребления в готовом виде в стандартных речевых ситуациях. Очевидно, чем большей устойчивостью, т.е. воспроизводимостью, характеризуется некоторый фрагмент текста, тем менее он нуждается во внутренней синтаксической организации. Можно представить эту зависимость и в динамике: по мере «коллоквиализации» таких двучленов структурные отношения между их компонентами затираются, приглушаются, становятся неважными.

Продолжая разговор о случаях «аграмматизма» в нашей речи, заметим: очень любопытна традиция называния художественного произведения по его первой строке или даже по первым словам (не составляющим синтаксического целого). Так, в концертных программах нередко объявляют: «*Исполняется старинный романс “Я помню вальса...”*» (а далее должно было бы быть *...звук прелестный*) или: «*Романс Римского-Корсакова “Редет облаков...”*» (а далее должно было бы быть *...вечерняя гряда*) и т.п. Понятно, что *Я помню вальса* или *Редет облаков* никак не может быть предложением, но особая дискурсивная функция — название произведения — дела-

ет сочетание слов коммуникативным эрзацем, «чем-то вроде предложения».

В некоторых условиях такая «неправильность» вполне приемлема, даже естественна. В частности, в тех случаях, когда у стихотворения нет специального названия, оно в оглавлении поэтического сборника дается по первой строке. Скажем, среди заглавий произведений А.С. Пушкина фигурируют такие как «*Пускай увенчанный любовью красоты*», «*Сказали раз царю, что наконец*», «*Когда в объятия мои*» и т.п. Конечно, трудно *Когда в объятия мои* назвать предложением, но в данных условиях, в рамках оглавления, этот синтаксический фрагмент исполняет такую роль не хуже, чем какое-нибудь «*Деревня*» или «*Песнь о вещем Олеге*». Аграмматизм подобных названий вынужденный, и, в то же время, он обусловлен особенностями организации поэтического текста (структурной ролью строки, стихотворным размером и т.п.).

В ситуации разговорной речи изолированная падежная форма вообще легко «прилепляется», присоединяется к другой, грамматически с нею не связанной. Одна литературная иллюстрация:

Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами.

— **Умираю пива!** — вяло говорил он.

И девушки бежали за пивом (С. Довлатов. Заповедник).

Это *умираю пива* означает примерно следующее: 'я просто умираю от жажды — так сильно хочу выпить пива' или же 'я так хочу пить, что почти умираю, и наверняка умру, если мне тотчас не дадут пива'. Такое «восстановление» полного смысла, конечно, имеет смысл для лингвиста, но оно совершенно не нужно для носителя языка. Девушки в приведенной цитате поняли все без комментариев.

Полноценное функционирование «обломков» целых синтаксических структур — это, с одной стороны, проявление сложного характера процесса речепорождения. Понятно: человек торопится, он во власти эмоций, вдобавок, единство обстановки и

знание собеседника позволяют не бояться того, что адресат что-то не поймет. С другой стороны, аграмматизм, свойственный некоторым видам текста, а точнее сказать, особый, нефлективный способ их организации, говорит о богатых коммуникативных резервах языковой системы.

Дело в том, что в некоторых жанрово-стилевых условиях продуманная и разветвленная организация фразы оказывается вообще ненужной, не обязательной. Тут-то изолированные словоформы, представители той или иной семантической роли, и чувствуют себя хозяевами положения.

Самый яркий случай — это, конечно, **номинатив**, форма именительного падежа, носитель разнообразных субъектных ролей. В разговорной речи номинатив — самый частый падеж; по подсчетам В.А. Никонова, он тут «никогда не составляет менее 40 процентов» (в научной и деловой речи именительный уступает первенство родительному). Но существуют, скажем, жанры научно-технических текстов, жестко регламентированных в своей структуре, и эта структура лишь частично соответствует «обычным» синтаксическим правилам. В частности, поисковый образ документа — это просто набор ключевых слов в именительном падеже, дающий представление о содержании документа. Получается, что противопоставление слова предложению иногда «смазывается», перестает быть актуальным.

Е.С. Кубрякова, размышляя над тем, насколько предложения вообще способны **называть**, писала: «...Предложения разных типов способны на выполнение номинативных функций не в равной мере» (Кубрякова 1986, 39). И дальше уточняла эту мысль: «Выбор единицы номинации соотнобразуется с интенцией говорящего и структурно-семантическими особенностями этих единиц. Формат единицы, ее протяженность, ее расчлененность, возможность отразить с ее помощью те или иные детали ситуации, подчеркнуть те или иные моменты в ее характеристике — все это играет свою роль при выборе единицы номинации или в акте ее создания» (Там же, 44—45).

Но стоит задуматься вообще над тем, как широко в нашей речевой практике представлены номинативные предложения. «В последнее столетие произошел необъяснимый лишь вну-

триязыковыми причинами бурный рост их употребительности в текстах определенной стилевой и жанровой отнесенности. <...> Определение «системного статуса» номинативных предложений и описание их основных типов имеет самостоятельное значение. Не менее важно и изучение этого типа предложений как фрагмента синтаксической системы языка в целом...» (Міхневіч 2006, 32).

Номинативные предложения имеют свои стандартные сферы применения. Это временная и пространственная интродукция (так называемые бытийные предложения типа *Ночь. Поздняя осень; Замоскворечье*), номенклатурная, или этикеточная, функция (*Госстрах; Волхонка, Мыло туалетное*), товарные знаки («*Жигули*»; «*Столичная*»), названия произведений искусства («*Колобок*»; «*Старики-разбойники*»), оценочная характеристика (*Красавец! Жадина!*), так называемый именительный темы, или именительный представления (*Победа! Как мы ее ждали!*) и т.д. Как видим, лексические ресурсы языка здесь некоторым образом распределяются между функциональными типами, но когнитивная ценность всех этих односоставных предложений очевидна: они фиксируют в себе классификационный и вообще познавательный опыт социума. И даже когда эти разные субфункции объединяются, сочетаются в одном контексте, лексическая специфика номинативных конструкций помогает нам воспринять их «как надо», ср.:

Вечер. Лето. Чистота. Мир. Уют. Коровы. Лошади. Мальчишки визжат на огромной высоте мостов, разглядывая нутро наших труб (В. Конецкий. Среди мифов и рифов).

Здесь говорящий от вводных бытийных предложений (*Вечер. Лето*) через оценочные (*Чистота. Мир. Уют*) свободно переходит к «номенклатурным» фразам (*Коровы. Лошади*), чтобы затем вообще вернуться к обычным глагольным построениям.

К тому же эта, казалось бы, сложившаяся система подтипов продолжает эволюционировать. Вдруг у номинативных предложений появляются новые области использования, со своим когнитивным «привкусом». В частности, здесь можно назвать

так называемые бэджи — маленькие таблички с личными данными, прикрепляемые к груди или вешаемые на шею. Причем на бэджах продавцов и обслуживающего персонала достаточно имени (*Елена; Светлана*); у милиционеров или полицейских это фамилия, имя, отчество, подразделение и должность, да еще с фотографией; у участников конференций и симпозиумов, кроме имени, обычно — город и страна, которую этот человек представляет. Познавательная ценность номинативных предложений, используемых в бэджах, не только в том, что они конкретизируют, идентифицируют человека, позволяют к нему обратиться, но и в том, что они приписывают его к новой культуре общения. Сто лет назад бэджик на городском или на продавце выглядел бы крайне странно.

На фоне уже упомянутого набора номинативных субфункций односоставные предложения могут дополнительно принимать на себя функцию эстетическую. Так, существуют многочисленные попытки создать с помощью однословных номинаций целый текст. И тогда перед нами не просто испытание синтаксических возможностей языка, но и художественный прием: жизнь человека или его день можно представить в виде цепочки событий. Приведем только один такой пример, анонимно опубликованный в альманахе «Пражский графоман», № 21 (2009 год):

Колыбель. Пеленки. Плач.
Слово. Шаг. Простуда. Врач.
Бегодня. Качели. Брат.
Двор. Игрушки. Детский сад.
Школа. Двойка. Тройка. Пять.
Мяч. Подножка. Гипс. Кровать.
Драка. Кровь. Подбитый глаз.
Двор. Друзья. Тусовка. Джаз.
Институт. Весна. Кусты.
Лето. Сессия. Хвосты.
Пиво. Водка. Джин со льдом.
Кофе. Сессия. Диплом.
Романтизм. Любовь. Весна.

Руки. Губы. Ночь без сна.
Свадьба. Теща. Тесть. Капкан.
Ссора. Клуб. Друзья. Стакан.
Сын. Пеленки. Колыбель.
Стресс. Любовница. Постель.
Бизнес. Деньги. План. Аврал.
Телевизор. Сериал.
Дача. Вишни. Кабачки.
Седина. Мигрень. Очки.
Внук. Пельмени. Колыбель.
Стресс. Давление. Постель.
Сердце. Почки. Кости. Врач.
Речи. Гроб. Прощанье. Плач.

Особо следует сказать о номинативной словоформе, выносимой в конец некоторого фрагмента текста (который можно было бы, в соответствии с традицией, называть *сложное синтаксическое целое*, но мы предпочтем термин *дискурс*) с резюмирующей целью. Сравним несколько примеров.

Он возле троллейбусной остановки в снегу лежал, и его уже слегка припорошило. Ну, люди, конечно, видели, но, конечно, внимания не обращали, потому что думали — лежит, ну и лежит. **Суббота** (М. Мишин. Субботний рассказ).

Ольга шла по краю истекающего песком холма, пока Ники ползал на коленях, то так, то эдак прилаживая камеру. **Профессионал** (Т. Устинова. Богиня прайм-тайма).

Жаль только поделиться своими мыслями было не с кем. Милосердные сестры на такие слова только прыскали в ладошку, а Фандорин рассеянно кивал, думая о чем-то другом. **Одним словом, безвременье и скука** (Б. Акунин. Турецкий гамбит).

Из окна Элиного кабинета — вид на почту. Возле почты молодые парни. К основанию брюк пришиты кольца от занавесок. **Ковбой** (В. Токарева. Хэппи-энд).

Очевидно, что все эти примеры объединяет особенность их строения — наличие односоставного номинативного предложения в конце, произносимого с явным понижением тона и выполняющего, условно говоря, роль заключения. Эта резюмирующая функция может окрашиваться дополнительными модусными оттенками: одобрения, иронии, сожаления, квиетизма («ничего не поделаешь!») и др. Но в любом случае это как бы конклюдия, подытоживание того, что было сказано перед тем. В частности, *суббота* в первой из приведенных цитат означает ‘это была суббота, конец недели, впереди выходной день, человек, возможно, выпил — имеет на то право’. Как видим, номинативная единица используется для обозначения довольно сложного смысла. Более того, содержание резюмирующей реплики оказывается несколько неожиданным для реципиента. И если предложить читателю в порядке эксперимента «восстановить» такое опущенное резюме, то в 99 случаях из 100 он **не** угадывает слово, употребленное в литературном тексте. Следовательно, предложение-резюме — не просто «подытоживание», механическое суммирование предыдущего смысла, но явное его развитие! Иными словами, это новая мысль, просто «свернутая» до номинации! Перед нами оказывается своего рода «текст в тексте»...

И еще надо сказать несколько слов о номинативной конструкции в функции заголовка публицистических текстов. Здесь существительное в именительном падеже нередко представляет собой результат номинализации пропозитивного смысла. Это значит — глагольная конструкция, со всеми своими разветвленными связями, сворачивается до отглагольного существительного. Скажем, из синтаксической структуры с предикатом *наказывать* («кто», «кого», «за что» наказывает) получается заголовок *Наказание за риск*. Тем самым от читателя отсекается значительная часть информации («кто наказывает?», «кого наказывает?», «каким образом наказывает?»), и номинатив может использоваться как средство манипуляции, своего рода фигура умолчания. Вот в минском русскоязычном еженедельнике «Ва-банкъ» (от 20 августа 2012 г.) опубликована заметка под названием «Взаимное признание». О чем это? Кто признает, что признает, кому признает? Оказывает-

ся, заметка о том, что министерства двух стран — России и Беларуси — подписали «Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях». Но если читатель ограничится знакомством с заголовком, то у него может сложиться неполное или неверное представление. Казалось бы, рутинное синтаксическое преобразование — а оно участвует в формировании картины мира!

Вернемся теперь к общей проблеме — статуса отдельной словоформы, носителя той или иной семантической роли. Конечно, не случайно именительный падеж имеет такие синтаксические привилегии, что касается самостоятельного употребления. Дело в том, что его прямое назначение — называть. И в этом своем качестве он — первый помощник в классифицирующей деятельности человека. Если бы представить себе фантастическую картину: мир как универсум, этакий «всеобщий каталог», то и надписи на каталожных ящиках, и карточки внутри них были бы представлены именно существительными в именительном падеже! Воспользуемся тут изящной цитатой из книги «Гений места» писателя и публициста Петра Вайля: «Номинативность есть способ борьбы с безумием. <...> Имена существительные — последнее прибежище языка и разума».

Г.А. Золотова ввела в лингвистический обиход понятие **синтаксем**, т.е. словоформы, наделенной определенной семантико-синтаксической функцией (ролью). Она же предложила и деление синтаксем на свободные, обусловленные и связанные. Эти структурные компоненты различаются своими синтаксическими возможностями. Одни из них «располагают широким диапазоном — способны реализовать разные функции и позиции, другие — узким, вплоть до единственной присловной позиции» (Золотова 1988, 17). Наиболее самостоятельны в своем функционировании **свободные синтаксем**. Они, в частности, выступают в текстах в качестве заголовков и ремарок. Процитируем еще Г.А. Золотову: свободные синтаксем «располагают в силу присущего им как бы до синтаксической конструкции категориально-семантического значения наиболее широкими возможностями употребления» (Там же,

18). Обратим внимание на это «как бы до синтаксической конструкции». «До» значит и для нас и «вне» — тем самым узаконивается особый статус словоформы! Два остальных типа минимальных синтаксических единиц такой свободой поведения не обладают. А именно: обусловленная синтаксема представляет собой конструктивную часть коммуникативной единицы (высказывания). А связанная синтаксема — распространитель конкретного слова, «восполнитель его релятивной семантики».

Так вот, именительный падеж более чем какой-либо другой, годится на роль свободной синтаксемы. Но это не значит, что остальные падежи не имеют права на самостоятельное употребление.

К примеру, формы родительного или винительного падежа без предлога в русском языке регулярно употребляются в отсутствие управляющего глагола и обозначают предмет желания, требования, мечтаний и т.д., ср.: *Воды! Хлеба! Тишины! Денег! Машину! Милицию! Дорогу!* и т.п. В этом, собственно, и проявляется свобода выбора говорящего, творческий характер его деятельности. Он может вообще не употребить данную словоформу, употребить ее в составе глагольного высказывания (*Дайте воды! Вызовите милицию!*) или же употребить ее вне целой структуры — благо у нее есть самостоятельное значение.

Если, предположим, человек много раз в своей жизни встречал высказывания с изолированным родительным падежом, типа *Воды!* или *Хлеба!*, то ему ничего не стоит образовать и высказывание *Соды!* — независимо от того, что имеется в виду: *Дайте соды, Прошу соды, Выпей соды, Хочу соды, Возьми соды, Принеси соды* и т.п. Приведем литературный пример:

— Чего не спишь? — спросил Ханин. — Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?

— Вот именно, — сказал Лапшин, — пирога.

— Ну соды! — посоветовал Ханин (Ю. Герман. Лапшин).

Еще пример, из поэтической речи.

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мёрзлый деревянный короб:
— **Читателя! советчика! врача!**
На лестнице колючей **разговора б!**
(О. Мандельштам. Куда мне деться в этом январе?)

И здесь мы можем только гадать, от какого предиката могли бы зависеть формы *читателя, советчика, врача, разговора*: от *хотеть, ждать, звать* или еще каких-то? Генитивные формы здесь автономны и самодостаточны.

Академическая «Русская грамматика» 1980 г. выделяет высказывания типа *Чая!* или *Врача!* в отдельный структурный тип именных предложений с семантикой «желаемого или требуемого существования, наличия предмета или предметно представленного действия, состояния» (Русская грамматика II 1980, 371). Такая трактовка мотивируется уже тем, что на роль управляющего слова здесь могут претендовать различные лексемы (*дайте, хотим, нужно, прошу* и т.п.). Собственно, семантически словоформа родительного или винительного падежа в подобной ситуации и не требует восполнения никаким предикатом. По сути это **«обломок» синтаксической модели**, стремящийся к коммуникативной самодостаточности.

Добавим, что подобные «сепаратистские» тенденции присущи в русском языке не только формам родительного или винительного падежа. И дательный, и творительный, и предложный падежи — все они имеют как бы право на самостоятельное употребление, потому что за каждым из них стоит свой «стандартный» синтаксический смысл. Сравним следующие примеры (в скобках после каждой группы примеров приводится условное обозначение соответствующей функции).

ИП: *Весна. Столовая. Гость. Отцы и дети* (номинация).

РП: *Воды. Огня. Хлеба и зрелищ* (дезиратив, т.е. объект желания).

ДП: *Дорогой Наташе. Клеветникам России. Городу и миру* (адресат).

ВП: *Милицию. Карту. Руку и сердце. Лыжню!* (объект).

ТП: *Своим горбом. Полной грудью. Огнём и мечом* (инструмент).

ПП: *В театре. На балу. В небесах и на земле* (локатив).

Причем такому «монопольному» прочтению приведенных форм почти не мешают возможности их иного истолкования. Хорошо известно, скажем, что форма беспредложного творительного падежа в других случаях может выражать и темпоратив (*отдыхать весной*), и компаратив (*лететь стрелой*), и локатив (*ехать лесом*), и объект притяжания (*владеть имуществом*) и т.п. Но инструментальная семантика как бы заслоняет собой все остальные возможные значения. «Главная функция творительного падежа в русском языке — это, конечно, указание на орудие действия («инструмент»)» (Вежбицка 1985, 312). Значит ли это, что если у одной и той же падежной формы имеется несколько различных значений, то какое-то из них оказывается наиболее «репрезентативным»? И связывается ли оно с возможностью самостоятельного (изолированного) употребления в роли свободной синтаксемы?

В свое время Роман Якобсон, посвятивший данной проблеме несколько работ, приписывал каждому падежу некоторое «общее», инвариантное значение на основании набора таких семантических признаков, как направленность, объемность и периферийность (Якобсон 1985, 179—194 и др.). Эта теория вызвала немалую критику, потому что получившиеся комбинации признаков были довольно условны и плохо соответствовали речевой реальности.

Но если «общее» значение падежа должно объединять в себе так или иначе все его возможные употребления (что проблематично), то «основное» значение отражает только прототипическое, стандартное употребление, не зависящее от контекста. Стремление выделить «основное» значение падежа может быть мотивировано и лингводидактическими целями. В частности, в сравнительно недавнем пособии Л. Янды и С. Клэнси суть русских падежей представлена так: именительный — номинация, творительный — средство, винительный — предназначение, дательный — получатель, родительный — источник, предлож-

ный — место. «Каждый падеж имеет свое отчетливое значение» (Janda, Clancy 2002, 4).

Разумеется, падежная форма существительного с предлогом также имеет свое «репрезентативное» значение и склонна реализовать его в самостоятельном употреблении. Две характерные иллюстрации.

Лапшин помолчал, ожидая чего-то, и услышал, как Адашова повесила трубку. «**В девчонку**, — думал он, шагая по кабинету, — ну ей двадцать семь — двадцать восемь, и что нам с ней делать? Про жуликов говорить?» (Ю. Герман. Лапшин).

В девчонку — это осколок высказывания *Угрозило же меня влюбиться в девчонку!* (ср. также разг. *влопаться, втюриться, втрескаться, врезаться* и т.п.). Это типичная связанная словоформа (по Г.А. Золотовой — в функции директива). Однако оказывается, что она может быть достаточно ясна и без управляющего глагола.

Минут десять, когда золу исследовали и взвешивали тут же в палатке, ждали. По виду того, кто это делал, кажется, Вадима, можно было судить о результатах.

— Ну что там? — спросил Курчатов. — **С процент**, наверное?

— Да, один процент.

— Столько примесей! — необычно злая скороговорка металась за крупно шагавшим по палатке Курчатовым (М. Горбунов. Предсказание апреля).

Форма «с + винительный падеж», имеющая в русском языке значение приблизительности меры (*мужичок с ноготок, семян — с горсть, ехать с неделю* и т.п.) фиксируется исследователями только в качестве обусловленной. На самом же деле она может образовывать и полноценное высказывание, как в данном случае: *С процент*.

Случается, что стремление к автономии управляемой формы приводит к нарушению правил грамматической сочетаемо-

сти или же к ошибочному пониманию. Приведем примеры того и другого.

— И он их всех зовет «котиками», — вспыхнула Мессалина.

Бухгалтер сопел, чесал в бороде карандашом и наконец сказал:

— О-о-о! Я завтра с ним поговорю! Пфуй! Я поговорю... **котика!** (Н.А. Тэффи. Сатир).

Словоформа *котика* появляется здесь не как реализация валентности глагола *поговорить*, а вопреки этой синтаксической интенции, благодаря отчетливо воспринимаемой объектной функции формы винительного падежа (ср.: *я ненавижу котика, уничтожу, убью, накажу котика, покажу ему котика* и т.п.).

— Слушай, — вкрадчиво сказал он, — поедем кататься с парусом...

Ты любишь кататься с парусом?

— По железной дороге. Чтобы я сидел в отдельном купе мягкого вагона, а парус лежал бы в одном из товарных (А. Бухов. Парус).

В данном юмористическом контексте предложно-падежная словоформа *с парусом* у нас на глазах отрывается от своего синтаксического хозяина *кататься* (при котором она выполняет инструментальную функцию) и становится самостоятельным представителем комитативной функции («совместность действия»). Если вспомнить наивно-образную классификацию фонизиновского недоросля Митрофана («*Котора дверь?*»), то можно сказать, что *с парусом* из «прилагательного», т.е. зависимого члена, превращается в сознании оппонента в «существительное»!

Стоит обратить внимание еще на выражение в русском языке локативных отношений. Самое естественное средство для них — формы предложного падежа с предлогами *на* и *в*. Первый предлог связывается, скорее, с представлением о поверхности, об открытом пространстве, ср.: *на улице, на стадионе, на потолке, на столе, на голове, на руках* и т.п.; второй — с представлением об объеме, о замкнутом пространстве, ср.: *в театре, в кино, в машине, в школе, в столе, в голове, в руках* и т.п. Это противопоставле-

ние в значительной мере условно, оно опирается на конвенцию. Мы говорим: *работать на фабрике, ждать на вокзале* и, вместе с тем, *работать в поле, сидеть в тени* и т.п. — логику тут найти трудно. Тем более, что в некоторых случаях допустимы и варианты типа *на кухне / в кухне, на небе / в небе* и т.п. Но иногда эта конвенция пересматривается, в том числе по концептуальным соображениям. Такова совсем недавняя история с конкуренцией выражений *на Украине* и *в Украине*. По мысли ортодоксальных политиков, говорить *на Украине* — это значит как бы «на окраине» (тем самым предложно-падежная конструкция ретимологизируется). А словоформа *в Украине*, согласно этой точке зрения, более точно отражает новую геополитическую ситуацию, потому что это значит «в самостоятельной стране»! С лингвистических позиций это выглядит довольно наивно, но как говорится, чем бы дитя ни тешилось...

Автономное, изолированное использование слова в определенной синтаксической позиции — это, конечно, особый случай в общей картине речепорождения и речевосприятия. Образно выражаясь, здесь «обломки» целых синтаксических структур пускаются в самостоятельное плавание. Но стоит вспомнить по данному поводу слова В.В. Виноградова: «Морфологические формы — это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике» (Виноградов 1947, 29). А у современного американского грамматиста Талми Гивона эта мысль приобрела совсем уж афористичное выражение: «Сегодняшняя морфология есть вчерашний синтаксис». Речь идет, конечно, в первую очередь о падежной системе.

Стремление актанта (и соответствующей словоформы) к относительной самостоятельности может проявляться и в других заслуживающих внимания фактах. «Излишняя» активность словоформы обнаруживает себя подчас в том, что говорящий «примысливает» ее к синтаксической модели, изначально ее не требующей.

Рассмотрим этот тезис на примере ситуаций с актантом «адресат», выражаемым в славянских языках главным образом с помощью дательного падежа имени. Адресат участвует во мно-

гих предикатно-актантных структурах, вершинную позицию в которых занимают глаголы типа *дарить, посвящать, передавать, сообщать, приносить, помогать* и т.п.; это естественно и не требует пояснений. Поскольку адресатная функция является для дательного падежа репрезентативной, то данная словоформа легко употребляется и в качестве свободной синтаксемы — в частности в посвящениях: *Дельвигу. Друзьям. Моим родителям* и т.п.

Вместе с тем данная словоформа может приписываться (придаваться) многим другим предикатам, для реализации которых семантика адресата в принципе необязательна (в состав синтаксической модели она не входит). В частности, в русском языке дательный падеж употребляется в конструкциях с глаголами *забывать, пахнуть, отрицать, хвалить, смеяться, плакать, чинить* и др. Литературные примеры:

Страхните мне крошки с простыни, остудите подушку, расправьте одеяло! (Т. Толстая. Любишь — не любишь).

Послonyaвшись по дому и **затопив жене** плиту, он вышел прогуляться... (А. Битов. Образ жизни).

А жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым.

Качнется сирень по скверам

Уже не тебе — им»

(А. Вознесенский. Реквием в двух шагах с эпилогом)

Прекрасной иллюстрацией к данной теме может служить и следующий известный (уже почти анекдотический) диалог из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти»:

— Ну, Нюра, довольно, не плачь!

— Я плачу не тебе, а тете Симе!

Глагол *плакать* вообще не требует адресата, это предикат поведения, сближающийся с предикатами состояния. А фраза ре-

бенка означает: 'не обращай внимания; мой плач тебя не должен касаться; это я хочу таким образом добиться чего-то (сочувствия и т.п.) от тети Симы'.

Если подходить к приведенным примерам с позиций когнитивной лингвистики, то фактически мы имеем в них дело с совмещением, объединением двух пропозиций. Что значит *Стряхните мне крошки с простыни*? Это вовсе не 'стряхните крошки мне в руку' и т.п. Это значит 'стряхните крошки с простыни, а она принадлежит мне' или 'стряхните крошки с простыни, это нужно мне, чтобы было уютно', или 'стряхните крошки с простыни, этим вы мне окажете услугу' и т.п. Точно так же *затопив жене плиту* означает 'затопив плиту, чтобы помочь жене'. Дательный падеж здесь обозначает не адресата в узком смысле слова, а, говоря языком страховых агентств, «выгодополучателя» — человека, в интересах которого совершается какое-то действие. Недаром многие лингвисты считают необходимым различать функцию адресата в строгом смысле слова (адресат речи и т.п.) и бенефицианта (это «получатель пользы» от действия).

Причем ситуация, «расширяемая» с помощью словоформы в дательном падеже, вовсе не обязательно идет в буквальном смысле на пользу адресату, ср. еще один пример:

Наплевала Вероника на мистика и купила колечко. А **Азарову** этот случай **запомнила**, обиделась на него ужасно (П. Дашкова. Легкие шаги безумия; это значит '...запомнила этот случай' и 'не смогла простить его Азарову').

И это — еще один удобный повод поговорить о синтаксической специфике каждого славянского языка.

В ряде славянских языков — белорусском, польском, чешском, словацком, болгарском и др. — дательный падеж регулярно используется для обозначения не только «положительного» действия, при котором у адресата что-то «прибывает», но и действия «отрицательного», в результате которого адресат чего-то лишается. Это древнее индоевропейское значение датива, обозначаемое латинским термином *Dativus Commodi — Incommodi* («дательный пользы или вреда»). Данная семантика свойствен-

на преимущественно формам дательного падежа личных местоимений (однако употребляются в такой ситуации и формы существительных). В частности, в следующем белорусском тексте словоформа *яму* как раз и обозначает такого «адресата лишения»:

Раз, калі спаў Машэка з ёю,
Зрабіць надумала сваё —
За кроў пралітую крывёю
Яму яго **забраць** жыццё
(Я. Купала. Магіла льва)

Конец этой цитаты в переводе на русский означает: ‘...надумала отнять у него его жизнь’. В русском языке такое «лишительное» значение выражается с помощью предлогов *у* или *от* + форма родительного падежа.

Еще для сопоставления — пример из польского языка:

Po jego zniknięciu okazało się, że razem z duchem **trzem panom zdematerializowały się** portfele z pieniędzmi i zegarki (A. Rumian. *Nić porozumienia*; перевод: ‘После его [духа — Б.Н.] исчезновения оказалось, что вместе с духом у трех господ улетучились бумажники с деньгами и часы’).

Таким образом ситуация «давания», в которой участвует адресат, объединяется в сознании носителей белорусского, польского (а также чешского, словацкого...) языков с ситуацией «лишения»; образуется некая гипертитуация «давания — лишения». При таких широких семантических границах адресата перечень глаголов, допускающих сочетаемость с дательным падежом, расширяется. По-видимому, это тоже способствует большей независимости данного аргумента от предиката.

И все же подобные расхождения в трактовке актантов нельзя назвать частыми и существенными для славянских языков. В целом можно считать, что набор семантических операторов более или менее универсален для всех языков европейской культуры. Что же касается системы синтаксических моделей (т.е. набора

предикатов и комбинаций актантов), то она, как мы уже видели, в каждом языке обладает своей спецификой, которая отражает когнитивный и коммуникативный опыт данного народа.

Таким образом, мы убеждаемся в том, что словоформа, выполняющая определенную семантическую функцию (т.е. синтаксема, по Золотовой), при некоторых условиях способна к самостоятельному функционированию. Это значит — она становится самостоятельным оператором, участвующим в категоризации (концептуализации) действительности. Особенно это касается таких актантов, как субъект, адресат, девербатив, де-зиратив, локатив и др. Составная часть типовой ситуации, отщепившаяся от пропозиционной структуры и обладающая достаточно устойчивой (опознаваемой) формой выражения, — это «кусочек» синтаксического смысла, используемый носителем языка в его речевой практике.

Есть ли связь между структурой фрейма и структурой высказывания, отражающего ситуацию? Об этом уже шла речь в главах, посвященных синтаксическим моделям и особой роли предиката. Здесь же мы только попробуем поставить данный вопрос применительно к актантам-«вольнотпущенникам» и их представителям — словоформам, находящимся «на вольных хлебах».

Скажем, если мы характеризуем некоторую ситуацию как «писание письма», то в ней естественно выделяются такие слоты, как «пишущий человек», «материал, на котором пишут» (традиционно это бумага, хотя стоит вспомнить фразу, ставшую популярной после открытия новгородских берестяных грамот: «Я послал тебе бересту»), «адресат» (родственник, друг, знакомый, учреждение), «конверт с адресом», «инструмент письма» (ручка, карандаш), возможно, также «средство» (в частности, чернила), «цель» (деловое письмо, личное, признание в любви и т.п.), «место, где пишут» (дома, в келье, на почтамте, в пустыне и т.д.), «повод» (поздравление, соболезнование и т.д.). В последние десятилетия к этому фрейму добавились новые слоты, связанные с развитием информационных технологий, и в качестве «инструмента» стал выступать компьютер, в качестве «материала» — электронные носители, в качестве «места» — интернет-

кафе и т.д. Но даже при таком внешнем развитии фрейма суть его в принципе остается той же самой. А если какие-то слоты оказываются необычными, окказиональными, то мы без особого труда опознаем этот фрейм через метафору, как в случае:

Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе
(Б. Окуджава. Старинная солдатская песня)

По-видимому, слоты, образующие костяк фрейма (в данном случае — «кто», «что», «кому», «чем» пишет) в первую очередь заслуживают реализации в виде свободных словоформ. Скажем, дательный падеж существительного *карандашом* может сигнализировать свою инструментальную функцию и в отсутствие предиката. Известен пример А.М. Пешковского: если мы видим, что перо у собеседника не пишет, то вполне можем ему посоветовать: *А вы карандашом!* «Карандашом можно не только писать, им можно заткнуть отверстие, подрисовать брови, растолочь обратной стороной кристалл и т.д., и т.д. Фраза «А вы карандашом!» может иметь соответственно этому множество значений» (Пешковский 1959, 58). Однако все эти многообразные ситуации вполне покрываются смыслом вырванной из контекста словоформы, представляющей инструментальный актант: *карандашом!*

Но и слоты относительно случайные, такие как «дата», «цель», «повод», «источник» и т.п., тоже имеют право на воплощение в самостоятельное высказывание. Достаточно вспомнить русские выражения вроде *21-го марта; Для служебного пользования; Для полного счастья; На долгую память; От восторженных поклонников; На дорожку; С любовью; С приветом* и т.п. Особенно наглядно «отщепившиеся» словоформы, отражающие те или иные элементы фрейма, проявляют себя в коммуникативных тактиках призыва, приказа, пожелания, напутствия и т.п. Сравним следующие примеры: *К оружию! По коням! На баррикады! В атаку! На бордаж! К ноге! На плечо! От винта! В пампасы! За победу! В добрый путь! До новых встреч!* и т.п. Нужно ли проецировать эти предложно-падежные формы на

целостную предикатно-актантную структуру? Очевидно, нет: они функционируют сами по себе, существуют именно в таком готовом виде.

Еще одна, можно сказать — новая, дискурсивная сфера, в которой предложно-падежные формы испытывают склонность к самостоятельному (обособленному) употреблению, — это названия гостиниц, пансионатов, ателье, ресторанов и других заведений типа «У Филиппа», «У бравого Швейка», «У фонтана», «Под чашей», «Под орлом», «На Пятницкой», «На Театральной», «За кольцевой» и т.п. Это модель, в общем-то, старая, еще дореволюционная, но в последнее время она активизировалась под «западным» влиянием: развитие частного бизнеса в сфере услуг потребовало использования более разнообразных названий.

Взаимодействие когнитивного и коммуникативного опыта приводит к тому, что «участники ситуации» образуют в сознании носителя языка свою систему, в каком-то смысле автономную и параллельную по отношению к системе синтаксических моделей. Привязываясь к основной, репрезентативной форме своего выражения, актанты становятся достаточным средством для передачи элементарных синтаксических смыслов.

Таким образом, если упомянутое в начале главы «обесценивание» флексии в русском языке и происходит, то лишь в составе целого высказывания. А флексия как показатель синтаксической роли словоформы, наоборот, повышает свою ценность. Становясь постоянным носителем, можно сказать — символом, определенной синтаксической функции, словоформа приобретает способность к самостоятельному употреблению.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

С середины XX в. лингвистов стали особенно занимать возможности преобразования высказывания. В значительной мере это было связано с разработкой принципов трансформационной и — шире — генеративной грамматики. Но для генеративистов трансформация — это операция, предполагающая строгое соблюдение некоторых условий. Вот как излагал их Ю.Д. Апресян: «Будем говорить, что две правильные фразы находятся в отношении **трансформируемости**, если они имеют: (1) одни и те же лексические морфемы и (2) одно и то же дерево непосредственных синтаксических связей» (Апресян 1966, 155). Соблюдение данных условий не позволяет считать трансформацией ни соотношение фраз типа *Москва лежит на восток от Парижа* — *Париж лежит западнее Москвы*, ни соотношение типа *Критик организует группу* — *Организация группирует критиков*. Зато трансформами следует признать фразы типа *Критик организует группу* — *Критик — организатор группы*, а также *Группа организована критиком*: здесь отношения непосредственной синтаксической связи идентичны. По утверждению Ю.Д. Апресяна, соблюдение двух указанных условий «автоматически приводит к сохранению значительной части смысла фразы» (Там же, 156—157).

С позиций когнитивной лингвистики роль синтаксических трансформаций заключается в том, что они позволяют одну и ту же референтную ситуацию представить различным образом, сигнализируя одновременно отношение говорящего к этой ситуации, «выпячивая» те или иные ее составляющие и одновременно вводя высказывание в целый текст.

Однако для наших целей целесообразно трактовать синтаксические преобразования более широко, не ограничиваясь трансформациями в узком смысле. Фактически речь идет о

процессах, протекающих во внутренней речи говорящего и слушающего. Далее мы будем говорить о том, как некоторая речевая интенция (устремление) говорящего видоизменяется в его сознании, прежде чем она реализуется в материальной единице — высказывании. Естественно предположить, что в сознании слушающего имеют место те же процессы (хотя, возможно, и в иной последовательности).

Очерченные проблемы составляют объект специальной науки — психолингвистики. Это «дочерняя» дисциплина, промежуточная между языкознанием и психологией. Ключевым для нее является понятие **внутренней речи**, введенное советским психологом Л.С. Выготским. Внутренняя речь — это, по выражению ученого, «речь для себя», немая, молчаливая речь, то есть, по сути дела, мышление, связанное каким-то образом со словом. «Во внутренней речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней. Оно является концентрированным сгустком смысла» (Выготский 1982, 350). Понятно, что внутренняя речь представляет огромный интерес и для когнитивистики: именно здесь процессы познания получают свое первичное закрепление.

По словам другого советского исследователя, Н.И. Жинкина, который специально занимался латентными (скрытыми) процессами речевой деятельности, «внутренняя речь осуществляется не на словесном, нормализованном языке, а на специфическом субъективном языке, вырабатываемом в процессе накопления интеллектуального опыта» (из предисловия к книге «Механизмы речи») (Жинкин 1998, 85). В XX в. ученые затратили немало сил на выяснение природы этого нейрофизиологического феномена. В частности, они пытались представить его в виде колебаний биотоков или микродвижений органов речевого аппарата; но до сих пор вопрос о единицах внутренней речи, о ее материальном воплощении остается открытым.

Для лингвиста языковое сознание — это «черный ящик», судить о работе которого можно только по тому, что у него «на входе» и что «на выходе». На входе — разнообразные стимулы: ощущения, впечатления, воспоминания, желания, устремления, чужая речь и т.д. На выходе — высказывания, составляющие

текст. И вот именно способы мыслительной обработки этих высказываний и являются предметом данной главы.

Но, собственно, откуда мы можем знать, что высказывание подверглось каким-то перестройкам, преобразованиям?

Во-первых, как уже говорилось, в сознании носителя языка есть представление об исходных (генеративисты говорят — «ядерных») синтаксических моделях. И каждая модель предполагает заполнение предикатной и актантных позиций определенным кругом лексики. Уже упоминавшийся немецкий лингвист, неогумбольдтианец Й.Л. Вайсгербер, в своей первой крупной работе «*Muttersprache und Geistesbildung*» (1929) так говорил о роли синтаксических образцов в мыслительной деятельности: «Схемы предложений зачастую уже присутствуют до того, как будет найдено слово, то есть на очень раннем этапе формирования мысли» (Вайсгербер 2004, 76). Автор на конкретных примерах показывал, как это происходит. Скажем, если человека спросили: «Что такое инструмент?», то он начинает говорить «Инструмент — это...», возможно, еще не зная, какие слова он далее выберет. А синтаксическая схема у него уже есть, она готова, она сформирована его коммуникативным и когнитивным опытом!

Следовательно, каждое реальное высказывание так или иначе соотносится в сознании с определенной синтаксической моделью. И если фраза содержит какие-то отклонения от типичной реализации, это явный сигнал того, что в сознании говорящего (и слушающего) она претерпела какие-то изменения, прошла какую-то обработку. Например, если человек говорит: *Поздравляю Вас!*, то эта фраза вторична по отношению к варианту *Поздравляю Вас с днем рождения* (или *с юбилеем свадьбы* и т.п.): в исходной модели со значением «поздравления» должен присутствовать актант «повод». «Вторичность» синтаксической структуры — следствие процессов, протекающих в «черном ящике» сознания.

Во-вторых, свидетельством произошедших во внутренней речи преобразований фразы могут быть нарушения каких-то правил управления или согласования. В том числе речь идет и о правилах семантического согласования. Прочитируем З. Топо-

линську, специалиста по сопоставительной славянской грамматике: «В структуре соответствующего предиката и аргумента существует общий компонент, свидетельствующий о связи между ними. Этот компонент, применительно к предикату, принято называть селективным ограничением. Другими словами, предикат отбирает свои потенциальные аргументы и принимает только те, которые согласуются с ним благодаря наличию в их структуре компонента, который встроен в структуру самого предиката» (Topolińska 2010, 16).

Если, к примеру, мы встречаем в тексте высказывание *В лесу раздавался топор дровосека* (Н.А. Некрасов. Крестьянские дети), то острый глаз лингвиста сразу отметит: как это — «раздавался топор»? Разве топор может раздаваться? Вот если бы голос раздавался — тогда ясно. А топор? «Ну, это просто, — скажет нам любой носитель русского языка. — Имеется в виду звук, т.е. стук, топора». Ах, вот оно что! Значит, приведенная выше фраза означает: 'В лесу раздавался звук топора дровосека'. Использована модель «где-то раздавалось что-то (о звуке)». А слово *топор*, оказывается, может приобретать в тексте значение 'звук топора'.

Но достаточно ли это объяснение для понимания фразы? Ведь топор сам по себе не звучит, и в огромном количестве речевых контекстов значение слова *топор* никакого «звукового» компонента содержать в себе не будет (ср., например: *Я купил себе на базаре топор*). Может быть, все дело здесь в соседе слова *топор* — глаголе *раздаваться*? Ведь он-то обозначает звук?

Попробуем видоизменить контекст в нашем примере, т.е. проводить то, что в свое время Л.В. Щерба называл лингвистическим экспериментом (Щерба 1974, 31–39). Можно ли сказать по-русски: *В шкафу раздавался топор дровосека? Под лавкой раздался топор дровосека? Когда я покупал топор, он раздался?* Нет, это невозможно. Топор звучит только тогда, когда его используют как орудие, когда им работают, — например, рубят дрова. (Говоря научным языком, сема «звук» в значении слова *топор* может быть актуализирована только одновременно с семой «работать».) Поэтому фраза типа *В шкафу раздавался топор дровосека* может оказаться осмысленной и реальной только

в каком-нибудь фантастическом, сказочном тексте — например, если бы речь шла о том, что какой-то мальчик-с-пальчик, сидящий в шкафу, рубит дрова...

Итак, дело не в глаголе *раздаваться*, а во внутреннем устройстве значения слова *топор*. Топор — инструмент, им работают, а побочным следствием этой работы является звук. Вот такая смысловая цепочка объясняет появление у слова *топор* значения 'звук топора'. И в целом наша фраза получает следующее, более полное истолкование: 'в лесу раздавался звук топора, которым работал дровосек'.

Но для дровосека работать топором — это не то же самое, что работать топором, скажем, для плотника или тем более для мясника. Для дровосека работа — это рубить дрова. Поэтому цитату из Некрасова лучше истолковать так: 'в лесу было слышно, как дровосек рубит дрова'. Или еще лучше: 'было слышно, как в лесу дровосек рубит дрова'.

Вот теперь мы уже, кажется, получаем искомый смысл или, во всяком случае, приближаемся к нему. Но неужели — возникает вопрос — и не филолог, а обычный человек, держащий перед глазами страницу Некрасова или воспроизводящий стихотворение по памяти, тоже должен пройти все эти мысленные ходы, все этапы анализа? Да, по-другому нельзя. Конечно, носитель языка не фиксирует свое внимание на отдельных этапах, и многие операции за него как бы проделывает сам язык (например, автоматически соотнося «инструмент» с соответствующей «работой», а ту, в свою очередь, с производимым при этом «звуком»). Но если не выполнить какое-либо из приводившихся выше условий анализа, то смысл фразы невозможно будет понять — как не понимаем мы в обычной ситуации искусственную фразу типа *В шкафу раздавался топор дровосека*.

Самое же удивительное при этом, что в нашем переводе указанной цитаты на «смысловый язык» вообще отсутствуют слова *топор* и *раздаваться*, которые присутствуют в исходном тексте. Можно сказать и по-другому: поразительно то, что в тексте у Некрасова вообще не упоминаются слова *рубить* и *дрова*; они как бы скрыты, «зашифрованы» в словах *топор* и *дровосек*!

Конечно, мы часто просто не замечаем тех изменений, которые претерпевает структура фразы во внутренней речи, не задерживаем на них своего внимания. Эти сдвиги стали для нас привычными, рутинными, и происходят они по закрепленным в сознании образцам. Иначе говоря, со временем они «автоматизируются» и кодифицируются. Это касается как распределения семем по синтаксическим позициям, так и их частеречного воплощения. Но это вовсе не значит, что читатель получает смысл высказывания независимо от того, как оно «организовано». Готовые модели синтаксических смещений позволяют языковому сознанию, в частности, фокусироваться на каком-то фрагменте ситуации, превращать признак, деталь в отдельную заслуживающую внимания субстанцию. Это похоже на то, что в кинематографе называют укрупнением плана. Приведем примеры такого «сдвига оптики»:

...Невы державное течение,
Береговой ее гранит
(А.С. Пушкин. Медный всадник)

...И две большие стрекозы
На ржавом чугуна ограда
(А. Ахматова. Всё обещало мне его...)

Представленные в двух цитатах преобразования однотипны и элементарны. Словосочетание *береговой ее гранит* употреблено здесь вместо более естественного и первичного *ее гранитные берега, ржавый чугун ограда* — вместо *ржавая чугунная ограда* или *ограда из ржавого чугуна*. Из-за того, что слова занимают не те позиции, которые для них были первоначально предназначены, меняется фокус нашего восприятия — на первое место выходят гранит и чугун, а заодно мы получаем очередное подтверждение относительной независимости языковой картины мира от реальной действительности.

Среди наиболее частых и типичных способов синтаксического преобразования фразы (или ее фрагментов) надо назвать также сокращение поверхностно-синтаксической

структуры высказывания при одновременном усложнении, «уплотнении» содержащейся в нем информации. Это явление получает в лингвистике разные названия: *компрессия, стяжение, сжатие, сгущение, свертывание, конденсация, универбация* и т.п. Фактически речь идет о латентных, скрытых процессах, протекающих во внутренней речи. На выходе же эти «упакованные», сжатые смысловые конфигурации принимают вид элементарных синтагм — объективных, релятивных или атрибутивных. Причем им опять-таки свойственно легализоваться в сознании носителя языка настолько, что у того даже не возникает необходимости «расшифровывать» их, восстанавливать их деривационную историю — таким вопросом может задаться только лингвист.

В частности, если обратиться к материалу русского языка, то мы убедимся, что определительные словосочетания типа *пригородные кассы, властные структуры, докторский совет, третьи страны, пушкинская Москва, шаговая доступность, текущие документы* и т.п. нуждаются, с лингвистических позиций, в довольно сложном истолковании.

Так, слово *пригородный* в своем прямом значении это ‘находящийся в непосредственной близости от города’: *пригородная станция*. Но *пригородный поезд* означает не ‘поезд, находящийся вблизи от города’, а ‘поезд, следующий до станций, находящихся недалеко от города’. Это значение, кстати, уже фиксируется толковыми словарями в качестве отдельного, переносного. А сочетание *пригородные кассы* означает не ‘кассы, находящиеся вблизи от города’, а ‘кассы, продающие билеты на поезда, следующие до станций, находящихся вблизи от города’. Если же про какого-то человека скажут, что он — *пригородный кассир*, то это значит, что он работает в кассе, которая продает билеты на поезда, следующие до станций, находящихся недалеко от города. Мы видим, как на каждом очередном этапе значение слова *пригородный* усложняется, «впитывает» в себя предыдущие шаги семантико-синтаксической деривации.

Можно было бы предположить, что все дело тут в широте семантики относительных прилагательных. Это известная лингвистическая проблема: предельно обобщенный характер значения

позволяет относительному прилагательному (вместе с опорным словом) «лишь “намекать” на смысл связи между предметами» (В.М. Павлов), а дальше этот смысл конкретизируется в зависимости от условий контекста, от речевой ситуации. Но возникает вопрос: если мы определим *пригородный* максимально широко, как ‘имеющий отношение к пригороду’, будет ли этого достаточно в реальных речевых ситуациях? Сможем ли мы понять разницу между *пригородная* (станция) и *пригородная* (касса)? Согласимся ли мы с тем объяснением, что *пригородная касса* — это ‘касса, имеющая отношение к пригороду’? По-видимому, нет: нам необходимо учитывать деривационную историю каждого из этих словосочетаний.

Кроме того, синтаксическое стяжение охватывает ведь самые разнообразные конструкции, не только с относительными прилагательными. В частности, интерес представляют в русском языке сочетания глагола с существительным, типа *остановиться на светофоре, остаться на хозяйстве, ходить на знаменитостей, выйти на министра, выиграть Европу* (в смысле: ‘первенство Европы’) и т.п. Они, конечно, могут «царапать» слух или взгляд и под некоторым углом зрения представляют собой нарушения литературной нормы. Но, по сути, эти факты — проявления новых норм, входящих в нашу жизнь через разговорную речь. И во всех случаях перед нами — результат перестройки синтаксической структуры, который кратко можно охарактеризовать как компрессию.

Аналогичным образом, через возведение к синтаксическому прототипу, мы вправе истолковывать и субстантивные сочетания вроде *курсы квалификации* (из *курсы повышения квалификации*), *результаты в мужском молоте* (из *результаты соревнований по метанию молота среди мужчин*), *крем после бритья* (из *крем для употребления после бритья*), *шуба в пол* (из *шуба такой длины, что ее полы упираются в пол*) и т.п. Мы видим, что связи между одними элементами нарушаются, а между другими — возникают, какая-то словоформа передвигается из первоначально предназначенной для нее позиции в иную позицию, какая-то меняет свою частеречную природу, ну а какая-то может и вовсе исчезнуть, поглотиться своими соседями.

Семантико-синтаксические преобразования, ведущие к формальному сокращению структуры высказывания, не сразу были признаны объектом грамматической науки. Еще А.М. Пешковский считал сочетания типа *окно напротив* «исключительным» случаем. Однако по мере того, как внимание лингвистов смещалось от обоснования и установления норм литературного языка к описанию живой разговорной речи, подобные факты все чаще становились предметом исследования,

Хорошо известен вид стяжения, при котором от атрибутивного словосочетания остается только главный член; определение же (имеющее обычно оценочную семантику) «поглощается» существительным. А последнее приобретает при этом особое значение, ср.: *повышенная температура* → *температура* (*у мальчика температура*), *хорошее качество* → *качество* (*бороться за качество*), *должный уровень* → *уровень* (*быть на уровне*), *плохой запах* → *запах* (*рыба с запахом*) и т.п. Примеры из текстов:

Мама сделала **лицо**. Это значило — не приставай к отцу! (В. Попов. Это именно я; здесь *лицо* — ‘недовольное лицо’).

Оказывается, Вячеслав Михайлович способен **на поступок**. Настя почувствовала, что в ее душе появилось даже что-то вроде уважения к начальнику (А. Маринина. Незапертая дверь; *поступок* — ‘благородный поступок’).

— Ты же знаешь, мне врач сказал плавать. У меня **спина**.

— У всех спина, — мрачно пошутил любовник (Н. Андреева. Проигравшему достается жизнь; *спина* — ‘больная спина’).

...А она с котом. У него, видишь ли, ушки большие, а у меня тоже, может быть, **ушки**, только со мной никто по врачам не бегаёт (Т. Полякова. Чудо в пушистых перьях; *ушки* — ‘больные уши’).

При другом виде компрессии зависимая словоформа (несогласованное определение) «вытесняет» главную и становится репрезентантом всего именного словосочетания: вместо *Театр*

Сатиры говорят просто *Сатира* (смотреть «Ревизора» в *Сатире*), вместо *орден Красного Знамени* — *Красное Знамя*, вместо *война в Афганистане* — *Афганистан* и т.п. Конечно, и здесь эпицентр преобразований — разговорная речь, но подобные факты легко проникают в письменные тексты:

С легкой руки членов Массолита никто не называл дом «Домом Грибоедова», а все говорили просто — «**Грибоедов**»: «Я вчера два часа протолкался у **Грибоедова**»... Или: «Пойди к Берлиозу, он сегодня от четырех до пяти принимает в **Грибоедове**...» и т.д. (М. Булгаков. *Мастер и Маргарита*).

Она живет по соседству, **над «Людмилой»**. Любой москвич понимает, что означает «жить **над Людмилой**» — то есть в доме, первый этаж которого занимает магазин женской одежды (А. Рубинов. *Интимная жизнь Москвы*).

Первую свою **Славу** он получил, когда поехал на танке к зубному врачу: грязь была страшная, иначе было не доехать. А по дороге внезапно напоролся на немцев... (А. Липков. «Проверка... на дорогах»).

Процессы семантико-синтаксического стяжения могут приводить и к очевидным нарушениям норм управления. В частности, русские предлоги *в* и *на* в локативном значении управляют обычно формой предложного падежа: *дом на площади, работать в библиотеке* и т.п. Если же они в разговорной речи оказываются связанными с родительным падежом: *дом на Восстания, мост на Декабристов, учиться в Герцена, выходить на Пушкина* и т.п., то это верный признак того, что данная конструкция «съела», поглотила слова типа *улица, площадь, институт, академия* и т.п. Литературные примеры:

Кладовщик. Куда везти?

Посетитель. **На Чехова**... то есть **на Толбухина**. А в другой город можете?

Кладовщик. Адрес? (М. Жванецкий. *На складе*).

Сквозь молочный пар изморози едва виднелся высотный дом на Восстания (Л. Бежин. Метро «Тургеневская»).

Как-то принялся расспрашивать: а как называется мост, а кто построил вон тот особняк и вон тот? Ответов не давали. Мост на Декабристов, да и всё (В. Цыганов. Мой Екатеринбург).

Таким образом, синтаксические преобразования, происходящие в сознании носителя языка, есть способ освоения информации — а именно ее «упаковка», упорядочение, сжатие. Сознание не довольствуется простым соединением смысловых фрагментов, оно организует их в сложную структуру. А это ведет к тому, что какие-то элементы смысла уходят в пресуппозицию, включаются на правах составляющих в более «ёмкие» единицы. В свое время польский ученый Ян Михал Розвадовский (1867 — 1935) разработал теорию изначальной двусоставности языкового знака. Согласно этой концепции, любой новый знак двухэлементен, потому что он включает в себя наряду с «интегральным» основанием дифференциальный признак (например, *хвойный лес*). Затем знак может пройти этап свертывания (*хвойник*), и завершиться этот процесс может появлением немотивированного знака (*бор*). Наибольшую пользу эта теория принесла словообразованию. Но и для понимания семантико-синтаксических процессов она небезразлична. В частности, в случаях типа *недовольное лицо* → *лицо* 'гримаса' или *больная спина* → *спина* 'остеохондроз' мы имеем дело с этапом свертывания знака. Точно так же в разговорной речи слово *погода* приобретает устойчивое значение 'хорошая погода' (*ждать у моря погоды*) и т.п. В целом для мыслительного процесса это сигнал «освоенной территории» и повод к тому, чтобы двигаться дальше.

В соответствии со сказанным, проявлением синтаксической компрессии может быть не только нетипичная сочетаемость лексем, но и развитие у слов вторичных, переносных значений. В частности, для русского языка известны такие регулярные типы метонимических переносов, как:

‘действие’ — ‘субъект действия’ (*испарение воды — ядовитые испарения*);

‘свойство’ — ‘субъект свойства’ (*авторитет ученого — мнение авторитетов*);

‘действие’ — ‘объект действия’ (*вклейка страницы — вырвать вклейку*);

‘действие’ — ‘место действия’ (*внезапная остановка — трамвайная остановка*);

‘действие’ — ‘время действия’ (*пригласить на обед — прийти в обед*);

‘материал’ — ‘изделие из этого материала’ (*серебро, стекло*);

‘орган тела’ — ‘заболевание органа тела’ (*глаза, спина*);

‘содержащее’ — ‘содержимое’ (*аудитория, зал; стакан, ящик*);

‘столица государства’ — ‘правительство этого государства’ (*Москва, Вашингтон*);

‘организация’ — ‘здание, занимаемое этой организацией’ (*институт, театр*);

‘предмет одежды’ — ‘человек, который носит этот предмет одежды’ (*зеленые береты, шляпа*);

‘явление’ — ‘наука, которая изучает это явление’ (*синтаксис, химия*);

‘автор’ — ‘произведение’ (*читать Пушкина, слушать Моцарта*) и т.д.

Все эти и другие виды переносов детально описаны в работах Ю.Д. Апресяна, Д.Н. Шмелева, Е.Л. Гинзбурга, Л.А. Новикова и других лексикологов.

Со временем сдвиги в лексических значениях могут кодифицироваться и закрепляться в словарях. Например, у слова *химия* в «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова зафиксированы следующие значения (иллюстративный материал опустим): 1. Научная дисциплина (область естествознания), изучающая вещества, их состав, строение, свойства и взаимные превращения... || Учебный предмет, излагающий основы этой дисциплины... 2. Разг. Учебник по этому предмету... 3. Качественный состав чего-л... 4. Отрасль

химической промышленности... 5. *Разг.* Химические препараты (обычно как удобрения или отходы производства); химические методы (лечения, обработки и т.п.)... | О том, что выглядит искусственным, неестественным, синтетическим; синтетика... 6. *Разг.* Химическая завивка... 7. *Разг.* Уловки, хитрости, жульничество... В большинстве случаев «синтаксическое» происхождение новых значений самоочевидно и не требует доказательств; эти значения возникают на основе атрибутивных словосочетаний, как-то: *учебник по химии* → *химия*, *химическая промышленность* → *химия*, *химические препараты* → *химия*, *химическая завивка* → *химия* и т.п.

Стоит обратить внимание, что значительная часть приведенных в словарной статье толкований сопровождается пометой «Разг.». И этот список не закрыт: новые значения на синтаксической основе возникают постоянно, ср. еще *химия* ‘наказание по уголовным делам, представляющее собой направление на вредное производство’ (*направить на химию*) или *химия* ‘химическая реакция’, как в следующем случае:

— Это называется «увидела и погибла», — говорит Юля. — Я до сих пор не могу объяснить, что со мной тогда произошло: вроде стоит помятый мужик, дырка на коленке... Между нами как будто возникла «*химия*» (газета «Комсомольская правда в Белоруссии», 05.04.2012).

Нередко преобразования, происходящие с высказыванием во внутренней речи, настолько сложны, что их непросто эксплицировать и трудно смоделировать. Однако для самого слушающего, как уже отмечалось, восстановление исходной структуры обычно не составляет большого труда. Приведем сначала пример из разговорной (обиходной) речи.

Несколько человек стоят на остановке маршрутного такси («маршрутки»). Подходит микроавтобус, но не все пассажиры умецаются в него. И одна женщина просит водителя:

— А можно я стоя?

А другая ей отвечает, кивая на шофёра:

— Ему нельзя стоя.

Это значит: 'ему (шофёру) нельзя, чтобы кто-то из пассажиров ехал стоя'. И собеседницы вполне понимают друг друга!

А теперь — несколько иллюстраций из современной художественной литературы. Сначала — две стихотворные цитаты.

И друг любимый на меня

Наточит нож за голенище

(С. Есенин. Устал я жить в родном краю...)

Это двустипшие сразу обращает на себя внимание своей не-правильностью. Как это — *наточить нож* на кого-то? Да еще *наточить за голенище*? Не говоря уже о том, что друг (к тому же любимый!) угрожает автору убийством! Однако в общем контексте стихотворения данные строки не кажутся такими уж странными. Читатель получает искомый смысл, и в этом ему помогают проделываемые в уме семантико-синтаксические преобразования. *Друг любимый* — это 'человек, которого я считаю своим ближайшим другом'. *Наточит нож за голенище* — 'наточит нож и засунет его за голенище сапога'. *Наточит нож на меня* значит 'наточит, имея в виду меня в качестве объекта дальнейшего действия'. В результате мы приходим примерно к такому толкованию: 'человек, которого я считаю своим ближайшим другом, наточит нож и засунет его за голенище, с тем чтобы при случае воспользоваться им против меня'. За простым по форме предложением скрывается несколько пропозиций!

Конечно, этот сложный смысл формируется в сознании в значительной мере спонтанно, без фиксации деталей, с поддержкой общего контекста. Но толчком к данному процессу служат синтаксически «неправильные» связи *наточить на меня* и *наточить за голенище*. Читатель вынужден искать им обоснование. Для первой связи таким оправданием служит параллель с *направить (нацелить, навести и т.п.) на меня*, а для второй — *засунуть (заложить, запрягать и т.п.) за голенище*. Попутно вскрывается некоторая пресуппозиционная информация. Нож точат для того, чтобы эффективнее им пользоваться. Голенище (сапога), скорее всего, свидетельствует о том, что дело происходит в условиях деревни. А оксюморонное *друг наточит на меня*

нож отражает всю глубину неразрешимого конфликта... Пусковым же механизмом для всех этих мыслительных ходов служат особенности синтаксической структуры фразы.

Второй пример.

На кухне, рыча, разгорается примус,
И прачка приносит **простынную одурь**...
(В. Луговской. Жестокое пробуждение)

Наряду с присутствующей в первой строке анимизацией (*примус рычит!*), основная семантическая сложность данной цитаты связана с выражением *простынная одурь*. *Одурь*, как гласит толковый словарь, есть «помрачение сознания от каких-н. внешних воздействий». Но что означает *прачка приносит простынную одурь*? Это значит приблизительно следующее: 'прачка приносит с улицы простыни и прочее белье, так сильно пахнущее свежестью (варианты: морозом, сыростью и т.п.), что это вызывает одурь'. Не будем вникать здесь опять-таки в натуральные и культурные пресуппозиции данного смысла (как-то: белье положено стирать; существуют люди, профессионально занимающиеся стиркой белья; белье обычно развешивают на просушку под открытым небом; при сушке белье испаряет влагу и т.п.). Но обратим внимание на механизмы сжатия, конденсации данного смысла, в результате которых и получается указанное сочетание из четырех слов.

Прежде всего тут можно усмотреть определенные сдвиги, происходящие в лексической семантике слов. Так, название обычного, типичного объекта действий прачки — *простыни* — становится гиперонимом, обобщающим или включающим в себя все прочие виды белья. В семантической структуре данного слова запрятана сема 'свежесть'. Она актуализируется и наводится на слово *одурь*: запах свежести и есть то «внешнее воздействие», которое приводит к «помрачению сознания». Самое же интересное — что в поверхностной структуре фразы слово (семема) *свежесть* вообще не присутствует, оно «реконструируется» лишь при обращении к глубинной (семантической) структуре. В этом можно найти подтверждение наблюдениям и выводам Е.Л. Гинз-

бурга, подробно изучившего системные пути переноса значений в лексике и обнаружившего: метонимия охватывает не целиком лексические единицы, а их семантические составляющие. Однако, как замечает исследователь, предпосылкой для таких семантических сдвигов с необходимостью является их проекция на синтаксическую модель: «семантическая структура непримитивной словарной единицы номинации — это предикативное единство, по своей конструкции являющееся в общем случае аналогом сложноподчиненного предложения с выделительным придаточным определительным, в частности — аналогом результата ее преобразования, в пределе простого предложения» (Гинзбург 1985, 60—61). Иными словами, процессы развития у слова вторичных, переносных значений имеют под собой сугубо синтаксические основания.

Действительно, наш пример демонстрирует сложную работу механизма формирования синтаксической структуры. Здесь семеме «свежесть», развившейся из периферийной семы в составе лексического значения слова *простыни*, изначально предписывалась роль признака по отношению к соответствующей субстанции (простыни могут быть свежими, пахнуть свежестью и т.п.). Но в ходе речепорождения, воплощения в поверхностную структуру признак сам становится определяемой субстанцией: 'свежесть' воплощается в *одурь*, в то время как семема 'простыни' трансформируется в признак *простынный*. Семемы как бы обменялись своими позициями в структуре фразы, произошел своего рода синтаксический перевертыш: *свежие простыни* → *простынная свежесть (одурь)*! И это, разумеется, не просто частеречные рокировки, но преобразования синтаксической структуры высказывания, которые слушающий обязан в своей дешифрующей деятельности вскрыть, «разгадать», иначе он не поймет смысла цитаты.

Может быть, все дело в том, что две последние цитаты взяты из поэтических текстов, по своей природе предполагающих усложненность и завуалированность смысла? Вовсе нет. Прозаические тексты дают не менее показательные образцы. Но следующие примеры мы прокомментируем не столь подробно.

К утру мы знали все новости совхоза: три отары переведены на осенние пастбища, в поселке построена баня на триста человек, умерла какая-то учительница музыки, приехал ученый скотовод, получены волейбольные мячи. **На волейболе** мы и заснули (М. Лоскутов. Немного в сторону).

Словоформа *на волейболе* в принципе могла бы означать 'на волейбольном матче' или 'на занятиях по волейболу' и т.п. Но в данном контексте речь идет о том, как гостей знакомят с совхозными новостями. И словоформа *на волейболе* приобретает значение 'на том месте, когда нам рассказывали про получение волейбольных мячей'. Номинализация всей пропозиции, т.е. сведение высказывания к одной именной словоформе, не только экономит место и время, но и служит знаком своего рода доверия к читателю, который «с полуслова» должен понять писателя.

Еще один пример из прозаического произведения.

...Сегодня, стоя у окна и глядя во двор, она авторитетно произносит: «Ноль-три приехала, кого повезут, **сестра из вены**». Поначалу я озадачен. У кого бы это могла быть сестра в Вене? Потом догадываюсь. Смысл высказывания следующий: приехала за кем-то, неизвестно за кем, машина «скорой помощи», из нее вышли люди с носилками, с ними медицинская сестра, та, которая в поликлинике берет на анализ кровь из вены (И. Грекова. Кафедра).

Здесь слушающий, он же — применительно к данной цитате — повествователь, сначала «озадачен», не понимает, о чем идет речь (трудный случай, усугубляющийся еще омонимией двух слов: *вена* 'кровеносный сосуд' и *Вена* 'столица Австрии!'), но потом всё же догадывается, и читателю предлагается полная «расшифровка» выражения *сестра из вены*.

Очевидно, что структурная перестройка, которая происходит в данных случаях во внутренней речи, довольно сложна. Преобразования затрагивают одновременно интересы синтаксиса, морфологии, лексики. Это вполне соответствует принципиальному тезису Л.С. Выготского: «Речь не служит выражением

готовой мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове» (Выготский 1982, 307).

В связи с данными примерами хотелось бы подчеркнуть, что формирование метафорического смысла текста и участие синтаксических единиц в этом процессе менее всего следует сводить к процедуре **эллипсиса**. Эллипсис — опущение члена высказывания, не требующее перестройки его остальной синтаксической структуры. В приведенных же выше примерах, как мы имели возможность убедиться, на пути от глубинной к поверхностной структуре (и наоборот) высказывание то и дело «переформируется»: в нем исчезают одни позиции и появляются другие, а семемы занимают не только первоначально отведенные им места, но и довольно-таки неожиданные...

И все же нужно вернуться к одному очень важному вопросу: если все эти семантические сдвиги, синтаксические смещения и стяжения каждый раз индивидуальны и сложны, то как же слушающий, причем не лингвист, а обычный, лингвистически не подкованный носитель языка понимает говорящего?

На этот вопрос могут быть, по-видимому, три ответа.

Первый из них таков. Все эти преобразования не так уж индивидуальны, не так уж непредсказуемы. За ними стоят скрытые образцы, имеющие некоторые эксплицитные (внешние) признаки. То, что обычный носитель языка без особого труда понимает высказывания с усложненной семантической структурой, доказывает, что в его сознании работают апробированные механизмы анализа и синтеза таких фраз. Дело лингвиста — в меру возможностей эти механизмы выявить и описать. Иными словами, процессы компрессии, синтаксического смещения, частеречной конверсии и т.п. доступны моделированию и систематизации.

Второй ответ на поставленный выше вопрос об индивидуальном характере структурных преобразований может быть такой. Языковое сознание очень гибко. При восприятии и переработке информации оно способно к аппроксимации, к операциям с нечеткими множествами, к принятию приблизительных решений. А если глаз (или ухо) встречает в тексте какое-то необычное, не-

понятное выражение, то сознание пытается отыскать ему хоть какие-то соответствия в мире референтов (опираясь на предшествующий жизненный опыт) и использует для этого все лексические и грамматические ресурсы языка, в том числе и те, которые удастся обнаружить в контексте. Рассмотрим очередной пример:

Надежда Ивановна сама стирает белье. Она нервно зевнула:

— Потолок надо мыть.

— **Потолок — это Оля.** Поставила варить сгущенку и забыла. И вот второй год желтый потолок над плитой весь в коричневых струпьях (С. Каледин. Коридор).

Высказывание *Потолок — это Оля* в принципе допускало бы множество возможных интерпретаций: ‘пятна на потолке — в этом виновата Оля’; ‘потолок должна ремонтировать Оля’; ‘потолок в пятнах — это Оля варила сгущенку’ и т.п. И, понимая это, говорящий сознательно идет навстречу своему собеседнику, разъясняя те трансформационные перестройки, которые предшествовали в его сознании появлению данной фразы. Слушающий же, со своей стороны, в сложных речевых ситуациях тоже перебирает в сознании возможности синтаксических преобразований и обращается к уже апробированным образцам интерпретации поверхностно-синтаксических конструкций.

Наконец, есть и третий ответ на поставленный выше вопрос. Да, семантико-синтаксические преобразования, естественные и желанные для одного носителя языка, могут оказаться «не по зубам» другому человеку. Кто-то просто отложит книгу, синтаксис которой покажется ему неоправданно усложненным, метафорическим. Кто-то перечитает еще раз абзац. Кто-то — в устной речи — переспросит, признавшись, что высказывание оказалось ему непонятно (вспомним в недавней цитате: «Я озадачен»). Выдающийся российский физиолог А.А. Ухтомский писал: «Наша организация принципиально рассчитана на постоянное движение, на динамику, на постоянные пробы и построение проектов, а также на постоянную проверку, разочарование и ошибки. И с

этой точки зрения можно сказать, что ошибка составляет нормальное место именно в высшей нервной деятельности» (Ухтомский 1950, 313). Значит, возможны и случаи неправильного понимания, коммуникативные недоразумения. Вот один конкретный пример, из журнальной статьи.

Два корифея-пианиста — Гольденвейзер и Нейгауз — были «отцами» разных школ. Это как разные театры под одной крышей. И постоянно разгорались страшные обиды: «Моего ученика не взяли, а Нейгауза взяли!» (журнал «Караван историй», июль 2005).

Словоформа в родительном падеже *Нейгауза* в данном контексте означает 'ученика Нейгауза'. Но неискушенный читатель может истолковать ее и как фамилию самого пианиста: мол, одного пианиста не взяли, а Нейгауза взяли — язык такую трактовку не запрещает! Получается, синтаксическое стяжение сыграло здесь с читателем злую шутку.

Подобные индивидуальные случаи, конечно, возможны. Но интереснее другое. Естественность, привычность некоторых типов синтаксических преобразований приводит носителя языка как бы к пересмотру правил логики. В книге В.А. Ицковича «Очерки синтаксической нормы» среди прочих случаев нарушения синтаксической правильности подробно описываются случаи под названием «пропуск подчиняющего слова» (Ицкович 1982, 163–165). Имеются в виду стяженные конструкции типа *головной убор, напоминающий русских боярышень; кроме литейщика, на деталь затрачен труд сверловщика; условия турнира отличаются от трех предыдущих; питательная ценность консервов в два раза выше свежих плодов* и т.п. (в основе везде — газетные тексты). Понятно, что в ходе порождения данных фраз произошла компрессия их синтаксической структуры. В полном варианте должно было бы быть *головной убор, напоминающий головной убор русских боярышень; кроме труда литейщика, на деталь затрачен труд сверловщика* и т.д. Дело в том, что при таких логических операциях, как сопоставление, противопоставление, перечисление и т.п. мы должны иметь дело с однородными (т.е. принадлежащими одному уровню обобщения) и одноплановы-

ми (т.е. относящимися к одной сфере) сущностями. «Убор А напоминает убор Б» — это правильно, а «Убор напоминает боярышень» — это логическая ошибка!

Почему же журналисты допускают такие огрехи, а редакторы их не поправляют? Но вот и в художественной литературе, у признанных мастеров слова, читаем:

В загоне <...> стоял покаты́й жираф, древнеегипетские **изображения** которого считались когда-то баснословной **смесью** всех животных (И. Бунин. Свет Зодиака; должно быть: *считались смесью изображений*).

Историк (со слов которого записал я все выше- и нижеизложенное) с момента выхода Гольца на улицу сильно противоречит **показаниям** мясника (А. Грин. Происшествие в улице Пса; должно быть: *показания историка противоречат*).

Голос сильно напоминал **виновника** несчастного случая, но я был слишком взволнован неожиданно налетевшей вестью (А. Бухов. Четыре жестокосердых; должно быть: *напоминал голос виновника*).

Самое простое оправдание таким случаям — это стремление говорящего (в частном случае — пишущего) к лаконизму, желание избежать повторов. Но есть объяснение и более глубокое, связанное с механизмами когниции. Это — способность нашего сознания выносить общую часть сопоставляемых понятий как бы за скобки, ср.: «труд (литейщика и сверловщика)», «питательная ценность (консервов и свежих плодов)» и т.п. И вместо того, чтобы при выходе на внешнюю речь «раскрыть» эти скобки так, как положено в математике, мы полагаемся на простую последовательность элементов и оставляем всё как есть. Потому-то и не замечаем допускаемой ошибки.

Восприятие данных цитат слушающим, по-видимому, характеризуется некоторым объемом дополнительной «дешифрующей» работы. Впрочем, для читателя художественной литературы такая работа может составлять удовольствие, более того — служить своего рода паролем, знаком «своего» текста. Но

в целом протекающие в голове носителя языка синтаксические процессы преследуют в качестве цели не просто «упрощение» или «сокращение» высказываний, а упаковку информации в соответствии с принятыми в данном языке правилами (а если к этому примешивается реализация каких-то эстетических задач, то — тем лучше). Некоторые лингвисты видят в семантико-синтаксических преобразованиях проявление особой тенденции — **к интеллектуализации речи**. По мнению болгарской исследовательницы Р. Ницоловой, интеллектуализация в области синтаксиса проявляется прежде всего именно в «усложнении и конденсации синтаксических структур» (Ницолова 1980, 83).

Каждый из славянских языков имеет в этом отношении свои особенности. Это связано с присущими данному языку закономерностями номинации, системой кодифицированных (стандартных) типов словосочетаний, словообразовательными возможностями, большей или меньшей строгостью словопорядка и т.д.

Белорусский лингвист А.Е. Михневич, анализируя процессы преобразования подчинительных конструкций в белорусской речи, одним из типичных случаев считал сгущение информации в форме «синтаксической конденсации». При этом предпосылку данного процесса он видел в регулярном эллипсисе и приводил примеры типа *выканаць план к дваццатаму дню снежня* ‘выполнить план к двадцатому дню декабря’ → (разг.) *выканаць план к дваццатаму снежню; перад першым чыслом мая* ‘перед первым числом мая’ → (разг.) *перад першым маем* и т.п. (Міхневіч 2006, 87–88). В качестве формального следа «перестройки» здесь выступает перерасположение подчинительных связей в словосочетании: название месяца из зависимой словоформы становится главной. А эллипсис — лишь одна из составляющих данного процесса. Кроме того, стоит напомнить, что активизация процессов компрессии в синтаксисе предполагает наличие мощного «субстрата» в виде разговорной речи.

Очень многообразно представлены синтаксические преобразования в болгарской речи. Исследовательница Н. Енчева (Ен-

чева 1989), говоря о большей распространенности синтаксических стяжений в болгарском языке (по сравнению с русским), считает, что это связано с общей направленностью данного языка в сторону аналитического развития. Здесь встречаются такие факты, как *сух пакет* (это результат компрессии выражения *пакет със суха храна* 'сухой паек'); *намалени стоки* (результат компрессии *стоки с намалени цени* 'товары по сниженным ценам'); *среща автограф* (из *среща, при която се раздават автографи* 'встреча с читателями или зрителями, после которой писатель или артист раздает автографы'), *молба за напускане* (результат стяжения *молба за напускане на работа* 'заявление об увольнении по собственному желанию') и т.п. Один пример из художественной литературы:

Тежко, разбира се, но за един месец овладях положението. Преди всичко **увеличих** гумените **цървули**, защото селска България трябва да има гумени цървули (К. Калчев. Софийски разкази; здесь *увеличих гумените цървули* — вместо: *увеличих производство на гумените цървули*). 'Тяжело, конечно, но за месяц я овладел ситуацией. Прежде всего я увеличил производство резиновых галош, потому что сельская Болгария должна иметь резиновые галоши'.

Еще один существенный в данном плане фактор — словообразовательный потенциал языка. Чешский язык, как считают специалисты, выделяется на славянском фоне «практически неограниченными возможностями аффиксальных образований» (В.Ф. Васильева). В частности, это касается образования наречий от относительных прилагательных. Ладислав Брож исследуя обстоятельственные выражения в русском языке, типа *в теоретическом отношении, со стилистической точки зрения, в смысле инсценировки, путем эксперимента, со стороны языка* и т.п. (он их называет «описательными наречиями») показал, что в чешском им соответствуют во многих случаях простые отадъективные наречия: *teoreticky, stylisticky, inscenačně, experimentálně, jazykově* и т.п. (Брож 1971, 27 и др.). Ясно, что речь идет о закрепленных в национальном сознании приемах «языковой тех-

ники», но они тоже имеют прямое отношение к формированию синтаксической структуры высказывания.

Системная природа языка и общие принципы познания и коммуникации довольно жестко регламентируют внутреннюю свободу действий говорящего и слушающего. Именно это позволяет нам говорить не только о моделируемости языковой и речевой структуры высказывания, но и о моделируемости процессов речевой деятельности, в ходе которых глубинные и поверхностные структуры превращаются друг в друга.

СОЧИНИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ЕЕ РОЛЬ В ПОЗНАНИИ

В языкознании все связи между словами (а также между предложениями) принято делить на два основных вида: подчинительные и сочинительные. Подчинительным связям уже было уделено достаточно внимания, когда речь шла о реализации предикатно-актантной структуры, о глагольном управлении, об особенностях строения словосочетаний и т.п. Теперь настало время поговорить о сочинительных связях и об их роли в познавательных процессах.

Сочинительная связь соответствует логической операции конъюнкции (сложения). Она не меняет структуры синтаксической модели, а приводит только к ее лексическому разрастанию — распространению или, как еще говорят, «расширению» (поэтому ей обычно уделяется меньше внимания в лингвистических описаниях). Обратимся к уже цитированной «Русской грамматике» 1980 г., подготовленной и изданной Институтом русского языка АН СССР: «Предложение может распространяться **рядом словоформ**, синтаксически не подчиненных друг другу и связанных между собой союзом и интонацией или только интонацией. Связь словоформ, образующих ряд, называется сочинительной связью. Словоформы, составляющие ряд, обычно занимают в предложении одну и ту же синтаксическую позицию. <...> Такие словоформы, объединенные сочинительной связью, являются **однородными членами предложения**» (Русская грамматика II 1980: 166).

В этом определении стоит обратить внимание на один важный момент: сочинение в синтаксисе — это одно, а синтаксическая однородность — другое. Тут говорится: «Словоформы, составляющие ряд, **обычно** занимают одну и ту же синтаксическую позицию». Обычно, но не всегда. Значит, сочинительная

связь — объединение в рамках высказывания равноправных словоформ, которые могут быть как однородными, так и неоднородными. Возьмем для примера фразу из письма А.П. Чехова: *Но работать в хорошую погоду, за чужим столом, с полным желудком — это не работа.* Здесь сочинительный ряд образован словоформами *в (хорошую) погоду* (когда?), *за (чужим) столом* (где?), *с (полным) желудком* (как? при каком условии?). Понятно, что эти словоформы однородными не являются.

Но синтаксическая однородность — важнейшее для когнитивной лингвистики понятие. В нем отражается опыт категоризационной деятельности общества. Человек в своей жизни наблюдает и сопоставляет разные явления, выстраивая их в определенную мысленную классификацию. Так, он понимает, что ливень, дождь, снег, град, туман, изморось — это все феномены одного порядка, они образуют класс «атмосферных явлений». Естественно, и в высказывании эти слова стремятся занять одну и ту же синтаксическую позицию, ср.: *Завтра обещали туман и изморось* или *Ну что это за погода: то дождь, то снег*, или: *Это уже не дождь, а ливень* и т.п. А вот и реальный пример из художественного текста:

Да, это была непогодка! Какая там гроза! **Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун** обрушился на нас! Папа бушевал (Л. Кассиль. Кондуит и Швамбрания).

Сочетания типа *туман и изморось, то дождь, то снег, стол и стул, ручки и карандаши, хвойные и лиственные* (леса), *быстро, но качественно* — это сочинительные ряды, и вместе с тем это примеры синтаксической однородности. Слова, образующие эти ряды, принадлежат к одной лексико-семантической группе, а также к одной части речи; кроме того, они и в высказывании играют одну и ту же синтаксическую роль. Это, так сказать, идеальный случай. Сочинительная связь в нашем сознании представлена именно такими **прототипическими образцами**. Они просты, как определения в детской считалке: *У меня есть три шара, Я купила их с утра. Красный, синий, голубой — выбирай себе любой!*

С помощью образцов сочинительной связи язык показывает, что ему известно, какие объекты или свойства относятся к одной сфере действительности, а какие — нет, какие принадлежат одному уровню обобщения, а какие — к разным. Выражения вроде *стол и шкаф* или *слабоволие и нерешительность* соответствуют языковой норме (и узусу), а, допустим, **стол и слабоволие* или **шкаф и нерешительность* режут слух (или глаз). Отклонением от нормы следует признать также конструкции типа **стол и мебель*: в них сочинительным союзом соединены понятия, относящиеся к разным уровням обобщения. Гипоним может объединяться с гиперонимом только при участии специальных слов — местоимений и частиц: *стол и другая мебель, стол и вообще мебель* и т.п.

Подчеркнем при этом, что гиперо-гипонимические связи в языке, в отличие от родо-видовых отношений в научной традиции, — не безусловная и объективная данность; они устанавливаются сознанием в соответствии с практическим опытом и особенностями национальной культуры.

Прежде всего в иерархической классификации понятий человек выбирает некоторый оптимальный, или базовый, уровень, с которым ему наиболее удобно и привычно работать. Это стало очевидно после работ Элеоноры Рош и других ученых, стоявших у основ когнитивной психологии. Так, в последовательности таксономических уровней «животное — млекопитающее — собака — пудель — королевский пудель» единицей базового уровня является, конечно, *собака*. На вопрос: «Кто это там бежит?» совершенно естествен ответ «Собака» и маловероятны ответы «Животное» или «Пудель». На чем это основано? В значительной степени — на характере взаимодействия человека с предметом. Именно совокупность «собачьих» признаков обладает применительно к собаке наибольшей практической значимостью (в то время как набор признаков «животное» или «пудель» характеризует ее с недостаточной или избыточной полнотой). Это обуславливает и частоту употребления соответствующей номинации, и ее стилистическую нейтральность, и психологическую «комфортность» для носителя языка.

Включение одного понятия в другое, одной категории в другую — то, что выглядит естественным и бесспорным применительно к научной таксономии, — здесь, в обыденном сознании и отражающем его языке, теряет свою убедительность.

Например, мы хорошо знаем, что такое *мох* или *лишайник*. Но куда их отнести: к *растениям*? Или это отдельные роды? Как лучше звучит: *мхи и другие растения* или просто *мхи и растения*? Можно ли сказать по-русски: «Птицы и другие животные спасались от лесного пожара» (где *птицы* выступают как гипоним по отношению к гиперониму *животное*)? Нет, это, по-видимому, неправильно, надо сказать: *Птицы и животные спасались от лесного пожара*. Значит, для языка птицы — не животные. В одной из самых известных работ Джорджа Лакоффа под названием «Женщины, огонь и опасные вещи» показывалось, что категоризация явлений в языке полна причуд, не объяснимых с точки зрения здравого смысла, но мотивированных историей данной культуры.

Сравнивая *любовь* и *страсть*, можно ли считать, что одно из этих понятий подчинено другому? Возможно, при ответе на этот вопрос следует учитывать и особенности национального менталитета. М.Л. Гаспаров рассказывает: «Я разбирал перед американскими аспирантами «Антония» Брюсова: «страсть» — понятие родовое, «любовь» — видовое, происходит семантическое сужение и т.д. Меня переспросили, не наоборот ли. Я удивился. Потом мне объяснили: для них love — общий случай приятного занятия (love-making), а passion — это досадное отягчающее частное обстоятельство, от которого нужно как можно скорее избавиться» (Гаспаров 2008, 246).

Если, предположим, какая-то книга по языкознанию называется «Семантика и грамматика», то это уже многое нам говорит о теоретических воззрениях автора. Скорее всего, он трактует данные два явления как самостоятельные и равноположенные сферы языка, и грамматика с семантикой, по его мнению, не пересекаются. Одно из двух: либо под семантикой здесь понимается только лексическая семантика, либо грамматика вообще лишается собственного значения. Сочинительная связь, как мы

видим, устанавливает определенные классификационные отношения между явлениями.

Рассмотрим еще пример, основанный на сопоставлении славянских языков. Для русского человека брынза — особый (соленый) вид сыра. Поэтому русский спокойно может сказать: *брынза, сулугуни, рокфор, пармезан...* (с образованием сочинительного ряда однородных словоформ) или: *брынза и другие виды сыра* (где *сыр* выступает как гипероним). Для представителей другого славянского народа — болгарского — брынза (по-болгарски *сирене*) — ежедневный продукт питания, а твердые сорта сыров (они покрываются общим названием *кашкавал*) используются на Балканах в пищу значительно реже. Поэтому для болгарина отношения между этими кисломолочными продуктами переворачиваются: *кашкавал* оказывается разновидностью *сирене*. Болгарин скажет: *кашкавал и други сиренета* (буквально: ‘сыр и другие виды брынзы’).

Понятно, каким образом выстраиваются здесь иерархические отношения в семантике: частое, массовое осознается как типичное; типичное принимается за общее, родовое (в языке ему соответствует гипероним). Наоборот, редкое выглядит на общем фоне как особенное, требующее уточнения, определения дополнительными признаками, а следовательно, это — видовое (гипоним). Это может показаться удивительным или странным, но таковы механизмы, по которым мы приводим наш мир в порядок, категоризируем его!

Однако все сделанные выше оговорки не отменяют, а, наоборот, усиливают **«классифицирующую» роль сочинительной связи**. Эта связь не только обнаруживает свою когнитивную силу применительно к явлениям одного порядка, но и содействует установлению иерархии между понятиями. Правила сочинения «воспитывают» носителя языка, приучают его к определенным условиям распространения синтаксических конструкций в речи. Так, если мы встречаем фразу *Он читает книгу природы так же, как мы с вами читаем книги и газеты; в экспедициях он незаменим как помощник и проводник...* (Ю. Казаков. И родился я на Новой Земле), то понимаем словоформу

газеты в одном значении: 'экземпляр периодического издания' (этому помогает и глагол *читать*). А если в другом тексте читаем:

Мистер Твистер,
Бывший министр,
Мистер Твистер,
Делец и банкир,
Владелец **заводов**,
Газет, пароходов
Решил на досуге
Объехать мир
(С. Маршак. Мистер Твистер),

то в этом контексте слово *газета* приобретает другое значение: 'крупный объект собственности: газетное издательство'. И способны этому его «соседи» — существительные *завод* и *пароход*!

Даже если слова, связанные сочинительной связью, нам незнакомы, мы интуитивно предполагаем, что они обозначают явления «одного порядка». Так, услышав высказывание: *Кто оставил на столе пассатижи и рашпиль?*, мы, даже не зная значения выделенных слов, предполагаем: это, скорее всего, понятия, относящиеся к одной тематической сфере и находящиеся на одной стадии категоризации. Говоря научным языком, пресуппозитивным условием для образования сочинительного ряда является семантическая однородность образующих его слов.

Казалось бы, члены сочинительного ряда равноправны: нельзя сказать, что один из них находится в зависимости от другого. Но речевая практика вносит в эту мысль некоторые коррективы. Так, мы обычно говорим *братья и сестры*, но не «сестры и братья», *мать и дитя*, но не «дитя и мать», *гром и молния*, но не «молния и гром», *столы и стулья*, но не «стулья и столы», *город и деревня*, но не «деревня и город», *дни и ночи*, но не «ночи и дни», *банки и бутылки*, но не «бутылки и банки»,

преступление и наказание, но не «наказание и преступление» и т.п. И ведь нельзя сказать, что это всё устойчивые (фразеологические) сочетания. Тогда почему их члены несвободны в своем размещении? Получается, что положение (место) отдельного слова в сочинительном ряду не случайно, а предопределено, существует какая-то закономерность размещения членов этого ряда. Конечно, строгого правила здесь нет. Но есть вероятностные предпочтения.

В сочинительном ряду скорее сначала будет стоять название мужчины, чем женщины (*леди и джентльмены* в данном плане — исключение), скорее взрослого (старшего) существа, чем ребенка, скорее большого предмета, чем маленького, скорее ближнего, чем дальнего, скорее более раннего события, чем позднего и т.д. И даже более короткое слово чаще предшествует в сочинительном ряду более длинному. Иногда, правда, эти частные правила как бы сталкиваются, противоречат друг другу (и вообще не забудем, что у говорящего есть тут некоторая свобода действий), но всё же общая закономерность существует. Слово, начинающее собой сочинительный ряд, обладает некоторым семантическим «приоритетом», а сам ряд — свойством необратимости. Данное свойство тоже очень важно в когнитивном отношении. Получается, что сознание не просто классифицирует явления окружающей действительности, но и определенным образом их **ранжирует**, «сортирует» по важности! И делает это с помощью такого нехитрого средства, как сочинительная связь!

Однако всё сказанное выше о сочинительной связи справедливо ровно постольку, поскольку относится к типичным, стандартным контекстам. Если же обратиться к литературному материалу, то мы увидим, что художники слова и здесь пользуются значительной свободой. Нарушая языковые каноны, они опять-таки ставят перед собой сверхзадачу: достижение особого эстетического эффекта. Рассмотрим несколько иллюстраций из русской литературы:

Восходят из долины к террасам англичане, аббаты, экскурсии и ослы (О. Форш. Сумасшедший корабль).

До районного центра было более тридцати километров по выбитой горбатой дороге, по бывшему Козельскому тракту, по моим нервам и моим костям (Б. Окуджава. Искусство кройки и шитья).

...Вот тележка, на ней можно возить разные вещи, как-то: землю, гравий, чемоданы, карандаши фабрики имени Сакко и Ванцетти, дикий мед, плоды манговых деревьев, альпенштоки, поделки из слоновой кости, dranku, собрания сочинений, клетки с кроликами, урны избирательные и для мусора, пуховики и наоборот — ядра, краденые умывальники, табели о рангах и мануфактуру периода Парижской коммуны (С. Соколов. Школа для дураков).

Например, я, петух и огурец происходят из здешних мест (В. Конецкий. Среди мифов и рифов).

Подобное «сочинение несочинимого» чаще всего используется как прием в текстах юмористического или сатирического характера. Понятно, что писатель в таком случае сознательно отталкивается от правил логики. Он как бы проводит с сочинительной связью лингвистический эксперимент (Санников 1989, 245), испытывая ее на прочность: до каких пределов она совместима с неоднородностью? Но языковая игра достигает своей цели только в том случае, если читатель улавливает замысел автора. И поскольку адресат, действительно, ощущает, что некоторые логические и языковые правила здесь нарушены, то, значит, и у него в голове эти правила присутствуют! Речевые исключения только подтверждают неумолимые законы когниции.

Один из обэриутов (представителей Объединения Реального Искусства, существовавшего в Ленинграде в 20–30-х годах прошлого века), Игорь Бахтерев, выступал на литературных вечерах с номером под названием «Вилки и стихи». Понятно, что уже само название шокировало и заинтересовывало благопристойную публику!

А вот совсем свежий пример, анекдот про российского олигарха:

Роман Абрамович приехал отдыхать на Кавказ. И прямо в аэропорту купил **шлепанцы, плавки и Адлер** [Адлер — курортный город и аэропорт. — Б.Н.]

Итак, словоформы, связанные сочинительной связью, должны быть однородны — это общее правило. Но универсальный характер имеют и отступления от данного правила. Во всяком случае, материал других славянских языков демонстрирует в этом отношении картину, полностью аналогичную той, что мы наблюдали в русских текстах. Для сравнения возьмем белорусский, польский и болгарский примеры:

Н а т а ш а . Усе цяпер хочуць мець **дыван і дысертацыю** (А. Дзялендзік. Начное дзяжурства; перевод: ...‘все хотят теперь иметь ковер и диссертацию’).

...**Za bilet, za nóż, za wodę, za gaz,
Za armatę, musztardę, podkowę, protekcję,
Za ślub, za grób, za schab, za lekcję,
Za klej, za klamkę, za klops, za kliszę,
Za papier, na którym te wiersze piszę...**
(J. Tuwim. Bal w operze)

Боя се от трамваи, от коли, от гръмотевици, от жени, от критици, от началници и от какво ли още не се боя? (И. Петров. Преди да се родя).

Даже без специального перевода понятно, что здесь везде в сочинительном ряду представлены разнородные понятия. Так, в польском примере это «билет», «нож», «вода», «газ», «пушка», «горчица», «подкова», «покровительство», «бракосочетание» и т.д. А в болгарском автор признается, что он боится трамваев, машин, раскатов грома, женщин, критиков, начальников, да мало ли еще чего...

И вот теперь стоит придать некоторое теоретическое осмысление тому виду отношений в синтаксисе, которым мы сейчас занимаемся. Сочинительная связь, как и связь вообще, органи-

зует слова в потоке речи, это значит — в синтагматике. Но ее специфика в том, что она предполагает некоторую **парадигматическую** общность между соединяемыми словами! Это значит — слова в сочинительном ряду должны обладать, по крайней мере, некоторыми общими признаками.

Причем, оказывается, для того, чтобы в ходе порождения текста в сознании говорящего сформировался сочинительный ряд, вовсе не обязательно, чтобы были выполнены все условия однородности: чтобы слова относились к одной части речи, к одной тематической сфере, к одному уровню обобщения и играли во фразе одну и ту же синтаксическую роль. Для возникновения между словами сочинительной связи достаточно **какой-то** общности — в частности, наличия в составе их значения общей семы. Это создает основание для известных случаев сочинения неоднородных членов, особенно наглядных в среде местоимений и наречий, ср.: *никто и никогда, все и всячески, быстро и качественно, всерьез и надолго* и т.п. Классический пример:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь...
(А.С. Пушкин. Евгений Онегин)

Учились чему-нибудь — важная синтаксическая связь, отражающая суть выбранной структурной схемы (модели предложения «кто-то учится чему-то»). *Учились как-нибудь* — факультативная, маловажная связь предиката с распространителем (не входящим в синтаксическую модель). И тем не менее, в структуре высказывания они объединяются! Достаточным основанием для возникновения сочинительного ряда служит наличие семы 'неопределенность' в словах *что-нибудь* и *как-нибудь*...

А в следующей цитате сочинительной связью объединены словоформы *все* и *давно*:

Так что жизнь Марики у Булгаковых на диване в столовой не была большой странностью. **Все и давно** жили тесно (Л. Яновская. Записки о Михаиле Булгакове).

Местоимение *все* и наречие *давно* характеризуют состояние «жизни в тесноте» с разных сторон, и в структуре высказывания они занимают совершенно разное место. Так почему же не сказано просто: *Все давно жили тесно*? Очевидно, что к объединению разнородных понятий привела общая кванторная (количественная) сема, содержащаяся и в слове *все*, и в слове *давно*.

Казалось бы, что общего между человеком, паровозом и микробом? Но поэт может увидеть в них общую сему ‘потенциальная опасность’ — и это дает ему право для объединения данных лексем в сочинительный ряд, как это делает Андрей Вознесенский в поэме «Оза»:

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Итак, одной, даже скрытой, семы достаточно для возникновения сочинительного ряда. Тем более естественно выглядит сочинительная связь, объединяющая не просто семантически сходные в каком-то отношении, но **тождественные** лексемы. Самый простой здесь и вместе с тем заслуживающий внимания случай — когда лексема повторяется буквально, в одной и той же синтаксической позиции:

Заборы, витрины и окна учреждений заклеены **приказами, приказами, приказами...** (В. Солоухин. При свете дня).

...Он ездил из города в город, развозя в докторском саквояже сырую самодельную литературу <...> и занимаясь **агитацией, агитацией...** (Л. Улицкая. Медя и ее дети).

Такой повтор представляет интерес не только в стилистическом, но и в когнитивном плане, потому что он воплощает в себе лексически идею множественности. Даже множественного числа словоформы *приказы* оказывается недостаточно, надо еще эту

множественность усилить! Перед нами некий аналог грамматического способа редупликации.

Но сочинительная связь может возникнуть между тождественными лексемами, даже если они играют в структуре высказывания совершенно различные семантические роли, ср.:

Прошли времена, когда женщина за минутную слабость расплачивалась **жизнью или**, по крайней мере, всю **жизнь** (А. Гусейнов. Золотое правило нравственности).

И если я не стоял рядом ни с кем великим за всю мою жизнь, то с чем-то великим — с Ленинградом — я не только стоял рядом. Я жил **им и в нем** (Л. Успенский. Записки старого петербуржца).

Основанием для возникновения сочинительного ряда может послужить и общность служебных показателей — предлогов или частиц. Зададим себе вопрос: можно ли сказать по-русски про человека: «он в кушаке», «он в бороде», «он в усах»? Вряд ли; во всяком случае, стилистически подобные сочетания неудовлетворительны. Однако в следующих контекстах они оказываются вполне реальными, и основанием для этого служит поддержка соседей по сочинительному ряду, ср.: *в тулупе — в кушаке, в брюках — в бороде, в шапках — в усах*.

Ямщик сидит на облучке,
В тулупе, в красном кушаке
(А.С. Пушкин. Евгений Онегин)

...На кафедру взобрался аукционист в клетчатых **брюках** «столетье» и **бороде**, ниспадавшей на толстовку русского коверкота (И. Ильф, Е. Петров. 12 стульев).

...Невысокие мужики в теплых меховых **шапках и в вислых усах** таскали корзины и ящики... (Л. Улицкая. Медя и ее дети).

Известно, что, кроме значения «внешнего признака», словоформа «предлог *в* + форма предложного падежа» способна вы-

ражать в русском языке еще целый ряд значений: локативных, темпоральных, оценочных и др. Но и эти различия в функциях — не преграда для объединения словоформ в сочинительный ряд, ср. еще и такие примеры:

...Стажирующий помощник режиссера в тех же целях и в специальном гриме имитировал в фойе волчью стаю (А. Бухов. Случай в «Театре возможностей»).

Ночью в их доме случайно вспыхивает пожар. Почувствовав жар, Тонкий в панике и в пижаме мчится в агентство Госстраха... (А. Хорт. Не играйте с огнем!).

Здесь формальная общность (один и тот же предлог + падеж) опять-таки провоцирует «сочинение несочинимого»: словоформы *в целях* и *в гриме* характеризуют действие с разных сторон, так же как *в панике* и *в пижаме*, но читатель не очень-то обращает на это внимание. Разумеется, и другие падежные формы, с другими предлогами способны образовывать такие же «неправильные» конструкции (ср. в пьесе К. Симонова: *...будем пить чай с сахаром и с папой* и т.п.).

Для случаев неоднородного сочинения в грамматике существует специальный термин «силлепсис». Очень часто за такими сочетаниями стоят глубинные синтаксические преобразования, имевшие место в грамматике говорящего. Скажем, строкам из «Cinque» Анны Ахматовой:

Но, живого и наяву,
Слышишь ты, как тебя зову, —

по-видимому, предшествовало объединение в языковом сознании таких построений, как *я зову тебя живого* и *я зову тебя наяву* (или же *я зову тебя живого* и *слышишь ты наяву?*). А результатом стало высказывание, построенное с элементами силлепсиса.

Если сочинительная связь объединяет не терминальные, а вершинные узлы предикатно-актантных структур, то «на выхо-

де», на уровне поверхностного синтаксиса, мы получаем контаминированные конструкции типа:

Звонили вчерашние гости и к соседям (Л. Улицкая. Гуля; из: *звонили гости и [кто-то] звонил к соседям*).

Это был новый воспитатель <...>, и теперь он пришел **посмотреть и познакомиться с детьми**, среди которых должен был работать (Г. Бельх, Л. Пантелеев. Республика ШКИД; из: *посмотреть на детей и познакомиться с детьми*).

...А вы — живите, пока не умрете, **качайте пиво из бочек и детей в колясках**, дышите воздухом сосновых боров... (С. Соколов. Школа для дураков; из: *качайте пиво из бочек и качайте детей в колясках*).

Литератор в будущем романе напишет: у сортира стояли ломы и лопаты, и это свидетельствовало о том, что тут работают. Но он умолчит о том, что работают плохо. А на самом деле, тут даже **не столько работают, сколько плохо** (А. Зиновьев. Зияющие высоты; из: *тут работают и работают плохо*).

Стилистика трактует подобные конструкции как нежелательные или даже неправильные. Вместе с тем для нас они представляют интерес, потому что отражают сложные «перестроенные» процессы, протекающие во внутренней речи говорящего и слушающего.

Представим себе очередную ситуацию. В учреждение приезжает ревизор, который должен провести проверку, и в его портфеле содержатся опасные для коллектива учреждения документы. Мы можем сказать: *ревизор с его опасным (или страшным) портфелем...* Портфель — собственность ревизора, его атрибут, часть его личной сферы (о которой уже шла речь). Очевидно, сам по себе, без ревизора, он ничего не значит! Но вот мы читаем у современного писателя:

И вдруг, перед самым отбытием **ревизора и страшного его портфеля** восояси, случилось чудесное событие... (Б. Акунин. Ф. М.).

Что изменилось в нашем представлении? Портфель становится самостоятельным участником ситуации, он уравнивается в правах с ревизором! Это значит, что говорящий, в принципе опирающийся в своей категоризационной деятельности на коллективный опыт, вправе в некоторой ситуации к этому опыту «не прислушаться». Конечно, кто-то может сказать, что *отбытие ревизора и его портфеля* — это «плохо сказано», правильнее — *отбытие ревизора с его портфелем*. Но писатель предлагает нам в данном фрагменте свою классификацию явлений действительности, и делает это с помощью нехитрого приема — использования сочинительного ряда.

Очень важная черта сочинительной связи состоит в том, что она создает льготные условия для функционирования **неологизма или окказионализма**. Механизм этого явления понятен. «Партнер» по сочинительному ряду — обычное слово — оказывает новообразованию своего рода поддержку: он включает его в соответствующий природе сочинения парадигматический ряд. И в результате среди однородных членов в тексте обнаруживается повышенный процент окказионализмов. Это можно показать даже на примере лексико-семантических единиц. Речь идет о появлении у слова «непредусмотренного», не фиксируемого словарями переносного значения.

Волочиться, кокетничать, буксировать рано вошло в ее бюджет, но по-настоящему она открыла запруды в пестрые дни гражданской войны... (Вс. Иванов. У; *буксировать* здесь, по-видимому, — ‘жить за чужой счет’).

Со мною начали совершаться разные малопонятные вещи. У меня появилась привычка просыпаться посреди ночи, внезапно стали ни с того ни с сего останавливаться часы, а в меланхолические минуты мне явственно слышались **голоса**, отдаленная **музыка**, **перешептывание и другая «шотландия»** (В. Пьецух. С точки зрения флейты; *шотландия* здесь — ‘галлюцинации, мистика’).

Но наиболее наглядно стимулирующая роль сочинительной связи проявляется по отношению к словообразовательным окказионализмам. Литературные примеры:

Ничего, дело семейное, а жизнь — штука долгая, не одни **пряники да вафлики**, и горя через отца немного на укрепку дому идет... (А. Вайнер, Г. Вайнер. Визит к Минотавру).

Культурный центр северного поселка улучшенного типа. **Солярий, розарий, дискуторий** — и всё это желательно под одной крышей (В. Попов. Жизнь удалась).

Нет, в нашем **безрыбье, безмясье**, и вообще в **бестоварье** пока рановато начинать бороться с гиподинамией, потребительством, с разлагающим нравы вещизмом (А. Рубинов. Откровенный разговор в середине недели).

— Отсебятины быть не должно.

— Знаете, — говорю, — уж лучше **отсебятина, чем отъеготина**.

— Как? — спросила женщина.

— Ладно, — говорю, — все будет нормально (С. Довлатов. Компромисс).

Читательское восприятие авторских новообразований *вафлики, дискуторий, безмясье, бестоварье, отъеготина* опирается в данных контекстах на их соседей по сочинительному ряду — на «нормальные» слова, хорошо известные носителю языка: *пряники, солярий, розарий, безрыбье, отсебятина*. Перед нами очередная иллюстрация того, как синтагматические отношения обслуживают парадигматический класс. Сочинительная связь в целом тем и интересна с позиций когнитивной лингвистики, что, с одной стороны, она подтверждает, закрепляет уже сложившиеся в сознании парадигматические отношения между словами — тематические, синонимические, антонимические, гиперо-гипонимические и др., а с другой стороны, сама участвует в формировании этих отношений!

Роль сочинительной связи как внутриязыкового фактора, стимулирующего употребление окказиональной единицы, может проявляться и по отношению к целым грамматическим рядам. В частности, это можно сказать о функционировании наречий и предикативов на *-о, -е*.

Вообще положение слов на *-о*, *-е* в системе русского языка непростое. Они образуются от прилагательных (а иногда и от других частей речи) с такой регулярностью, что многие словари вообще не считают нужным включать их в свой состав. Такое же отношение к отадективным наречиям и в лексикографии других славянских языков. Скажем, 5-томный «Толковый словарь белорусского языка» («Тлумачальны слоўнік беларускай мовы», 1977—1984) вообще не включает в свой состав (не упоминает) большинство качественных наречий белорусского языка — таких как *бязмежна*, *крыва*, *масава*, *няпэўна*, *тісьмова*, *танна*, *цвяроза*, *цьмяна* и др. В чем тут дело?

Еще Л.В. Щерба писал: «Категория наречий является исключительно формальной категорией, ибо значение ее совпадает со значением категории прилагательных, как это очевидно из сравнения таких пар, как *легкий/легко*, *бодрый/бодро* и т.д. Мы бы, вероятно, сознавали подобные наречия формой соответственных прилагательных...» (Щерба 1957, 72). Этот тезис, в общем-то, можно оспорить. Но, действительно, спросим себя: есть ли в русском языке слова *средневеково*, *капиталистично*, *мелкобуржуазно*, *костяно*, *бронзово*, *беспризорно*, *паровозно*, *серебряно*, *спасительно*, *запретно*, *высоколобо*, *взрывно*, *ржаво*, *школьно* и т.п.? Самое подходящее для них определение — потенциальные слова. Это значит — при необходимости они могут быть созданы в любой момент. (И, кстати, все приведенные только что лексемы выбраны нами из реальных письменных контекстов.)

Но опять-таки, если в составе высказывания формируется сочинительный ряд, то это можно рассматривать как условие, облегчающее реализацию потенциального слова. Можно сказать, что сочинительная связь в каком-то смысле провоцирует говорящего на такое словоупотребление. Приведем иллюстрации из художественных текстов.

Осенний день встретил тов. Короткова **расплывчато и странно** (М. Булгаков. Дьяволиада).

Всё разворачивалось **головокружительно, ненужно, запретно, сладко**, и сестра могла войти в любую минуту (Ю. Трифонов. Время и место).

Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. **Цинично** выглядит, **себялюбиво**, **гнусненько** (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Гадкие лебеди).

...Началось то, что мне тогда уже казалось прекрасным, а не из дали лет. Потом всё, конечно, стало **хуже**, **тусклее**, **мусорнее** и увяло окончательно ровно через год (Ю. Нагибин. Дневник).

В приведенных примерах рядом с узуальным наречием *странно* естественно выглядит и потенциальное образование *расплывчато*, рядом с *ненужно* и *сладко* — *головокружительно* и *запретно* и т.д.

Закономерности взаимоотношений окказионализма с сочинительным рядом можно проследить также на материале словоизменения. В частности, прилагательные в русском языке могут, как известно, иметь краткие формы, в которых они выступают в функции сказуемого. Однако сам процесс образования этих форм сопровождается детальной и прихотливой регламентацией: они образуются только от качественных прилагательных, и то не от всех. Ограничения здесь носят то лексико-семантический, то словообразовательный, а то и фонетический характер. Вместе с тем нередко то или иное «запретное» образование становится возможным в сочинительном ряду. Иллюстрации:

Горит весь мир, **прозрачен** и **духовен**,

Теперь-то он поистине хорош

(Н. Заболоцкий. Вечер на Оке)

Рейн, в замасленной прозодежде, **небрит**, **бессонен**, работает у механизма (М. Булгаков. Блаженство).

Забор был **высок** и **длинн**. Ой, такого слова, кажется, нет, но вы поняли, о чем я (А. Кивинов. Улица разбитых фонарей).

Приведенный только что пример из Николая Заболоцкого заставляет вспомнить об одной особенности русской грамматики, не нашедшей себе пока что объяснения. Речь идет о том, что

«использование нераспространенных кратких прилагательных в функции обособленных определений оказывается возможным лишь в однородном ряду подобных определений» (Л.Д. Чеснокова). Еще один — хрестоматийный — тому пример:

Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, **боязлива**,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин)

Нельзя сказать по-русски просто: *Боязлива, она в своей семье казалась чужой девочкой* и т.п. По-видимому, и в данном случае сочинительная связь служит синтагматической «подпоркой» окказионализма. Ведь она по-своему легализует, утверждает краткую форму прилагательного во вторичной функции определения вместо полагающейся ей «по штату» роли сказуемого. Но в таком случае остается предположить, что синтагматический ряд для «сомнительной» словоформы может создаваться не только парадигматически однозначной и кодифицированной словоформой, но и другой такой же нестандартной единицей. Кажущееся на первый взгляд странным, данное положение находит себе глубокое подтверждение в психологии мыслительной деятельности: два исключения в одном контексте — это уже как бы правило. Два (или более) окказионализма, связанные сочинительной связью, уже создают некоторый **ряд**, который помогает слушающему соотнести эти новообразования — «сомнительные» сами по себе — с определенным классом. Добавим, что случаи «взаимовыручки» окказионализмов нередки и в сфере словообразования, и приведем еще одну иллюстрацию:

... Ты меня законом и религией ни к чему не подведешь, на этот счет я сама и **начатки** и **кончатки** учила, и всё оставила... (Н. Лесков. Леон дворецкий сын).

Впрочем, мы уже сталкивались со стимулирующей ролью сочинительной связи и в других особых речевых ситуациях.

В частности, в главе, посвященной месту предиката в структуре высказывания, шла речь о том, что сочинительный ряд облегчает абсолютное, «безактантное» употребление глагола (типа *Бороться и искать, найти и не сдаваться*). Там синтагматический контекст позволял глаголу, так сказать, оторваться от своих предикатных обязанностей и ограничиться передачей сугубо понятийного содержания.

Наконец, стоит обратить внимание и на принципиальную незакрытость сочинительного ряда (в лингвистике это свойство часто называют рекурсивностью). В отличие от подчинительной связи, сочинение не сковано какими-то внутриязыковыми обязательствами (если не считать кратковременной памяти носителя языка). И говорящий может воспользоваться этим, «расширяя» высказывание до бесконечности, насыщая его однородными членами, например:

Возле камней возникали из тьмы военные патрули, поблескивали фонариками, аксельбантами, портупьями, оружием, шевронами, нашивками, кокардами, шлемами, пуговицами, глазами (В. Конецкий. Среди мифов и рифов).

Понятна стилистическая обусловленность данного перечисления (завершающегося к тому же неожиданным *глазами*). Последовательность элементов в этом словесном ряду есть последовательность наблюдаемых реальных предметов, ничем, в общем-то, не ограниченная. Познавательная ценность таких «реестров» невелика. Но симптоматично, что в подобных контекстах обычно выступают именно однородные члены! Как будто какой-то внутренний компенсаторный механизм в сознании носителя языка следит за тем, чтобы в речи не было в одно и то же время слишком много отклонений от правил.

Стоит заметить, что до сих пор мы представляли сочинительную связь в виде конструкций, «держущихся» либо на особой интонации перечисления (бессоюзная связь), либо на соединительных союзах. А ведь согласно традиционной грамматике сочинительные союзы подразделяются на три группы: соединительные (*и, да, также, как... так и...*), противительные (*но, а,*

зато, однако...) и разделительные (*или, либо, то... то...* и т.д.). Почему же остальные типы остались нами не востребованы? По-видимому, в сознании носителя языка прототипический образец сочинения связан не только с синтаксической однородностью, но и с определенным видом связи — именно тем, который выражается интонацией и союзом *и*.

Кроме классических и бесспорных примеров сочинительной связи, в сферу внимания исследователей попадают некоторые смежные явления. В частности, в современной русской речи весьма популярны сложения, или композиты, паратактического типа (это значит — без формальных показателей связи). Примерами могут служить случаи вроде *вилки-ложки, руки-ноги, банки-бутылки, книжки-тетрадки, пригорки-ручейки, гимны-марши, телевизоры-холодильники, лук-чеснок, китайцы-японцы*. У этих сложений есть свои нежесткие формальные признаки. Чаще тут оба существительных выступают во множественном числе, у композиты есть основное и второстепенное ударение, первый компонент обычно не длиннее второго и т.д.

Отличие композит от подчинительных оборотов (ср.: *вилки с ложками, книжки с тетрадками*) очевидно. Считать их сложными словами тоже невозможно: степень устойчивости компонентов в этих сочетаниях недостаточно велика. Можно, конечно, трактовать их как определительные словосочетания с несогласованным определением-приложением (ср.: *кресло-качалка, дом-музей* и т.п.), но и к ним наши композиты имеют отдаленное отношение хотя бы потому, что тут невозможно определить, какой член является определяемым, а какой — определяющим.

По сути же данные сочетания близки к примерам сочинительных конструкций, ср. *руки-ноги* и *руки и ноги, китайцы-японцы* и *китайцы и японцы* и т.п. Однако если в случае с сочинительным рядом мы имеем дело со сложением понятий, то в примерах типа *руки-ноги* имеет место их **обобщение**. Фактически таким способом образуется новый — составной — гипероним, причем гипероним аппроксимированный, приблизительный. Скажем, *вилки-ложки* — это не только ‘вилки + ложки’, но также и ‘ножи’, а возможно, вообще ‘столовая посуда’. Так и в следующих цитатах выражение *кошка-собака* означает ‘домаш-

ние животные', *хлеб-молоко* — 'насущенный минимум продуктов', *жмурки-пряталки* — 'детские игры и развлечения', а *жуки-червяки* — 'мелкие животные':

Ему нравится жить в пустой деревне с кошкой-собакой. Иногда сбегает на лыжах в соседнюю деревню в магазин за хлебом-молоком (Л. Улицкая. Общий вагон).

Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок. И всякие там жмурки-пряталки. Вот тогда дети и не станут пропадать (Э. Успенский. Дядя Федор, пес и кот).

Но жуки-червяки
Испугались,
По углам, по щелям
Разбежались:
Тараканы — под диваны,
А козявочки — под лавочки...
(К. Чуковский. Муха-Цокотуха)

Любопытно, что в последнем примере «жуки-червяки» далее конкретизируются как тараканы и козявочки...

Человеческое сознание постоянно ищет новых форм языковой категоризации действительности. Сочинительная связь в этом смысле — очень важный, но, очевидно, недостаточный инструмент. Композиты в каком-то смысле ее дополняют, как дополняют и другие языковые средства: рубрикация, образование гиперонимов (выделение «надбазового» уровня обобщения) и т.п.

И все же роль сочинительной связи в познавательных процессах трудно переоценить. Данный вид связи соединяет в себе, сводит, как в фокусе, синтагматические и парадигматические отношения между единицами лексического уровня.

При этом, с одной стороны, он (в типичном случае) отражает сложившуюся в коллективном сознании номенклатуру (таксономию) понятий, включая сюда и родо-видовые отношения между ними. Кроме того, порядок слов в рамках сочинительного

ряда отражает еще и ранжирование этих понятий, основанное на их прагматической ценности.

С другой стороны, за пределами прототипических случаев (примеров синтаксической однородности) сочинительная связь оказывается мощным инструментом организации высказывания. Основываясь на неполном наборе общих признаков между словами, а иногда и вовсе на одном-единственном признаке, она обеспечивает необходимую степень нежесткости, гибкости классификационных механизмов, иными словами — способствует процессам обобщения и аппроксимации (приближения) в концептуализационной деятельности человека.

КОГНИТИВНАЯ РОЛЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ МАРГИНАЛОВ

Маргиналами (от лат. *marginis* 'граница, край') обычно называют людей, оказавшихся на обочине жизни, не нашедших себе в обществе достойного места. В синтаксисе тоже есть классы слов «второго сорта». Если предикатно-актантная структура образуется обычно глаголами и существительными, то прилагательные и наречия в эту элитную сферу допускаются редко. «Привилегированная» роль существительных и глаголов понятна. Первые из них по самой своей природе — это названия, имена, служащие для каталогизации мира. А вторые — прирожденные «организаторы» высказывания. Всем же остальным частям речи ничего другого не остается, как скромно стоять во втором ряду.

Предпосылки такой точки зрения на части речи мы находим, в частности, у Отто Есперсена. Исходя из строения именных выражений типа *необыкновенно интересное кино*, датский ученый делил все слова на три синтаксических ранга. К первому, самому высокому, относились существительные и заменяющие их местоимения, ко второму — признаковые слова (прилагательные и глаголы), к третьему — наречия и им подобные (Есперсен 1958, 107–114). Понятно, что эта концепция отражает «номиноцентрический» взгляд на структуру предложения. Но и сторонники «глаголоцентризма» не жалуют прилагательные и наречия своим вниманием.

Однако в познавательной деятельности «синтаксические маргиналы» играют довольно важную роль, которой стоит посвятить отдельную главу.

Во-первых, справедливости ради следует сказать, что как прилагательные, так и наречия, хотя и нечасто, но могут входить в состав синтаксической модели предложения. Имя прилагательное (вместе со связкой) нередко выполняет в высказы-

вании функцию предиката (*Человек смертен; День был теплый* и т.п.), образуя, по словам Ю.С. Степанова, «один из основных типов предложений» — с qualificативной семантикой. Наречие же может входить в состав синтаксической модели на правах актанта. Некоторые типы предикатно-актантных структур не просто допускают, но предполагают такую реализацию. Это касается прежде всего локативных позиций, но также темпоральных, оценочных и других, ср.: *Петр живет **наверху**; Друзья находятся **рядом**; Юбилей **завтра**; Больной себя **чувствует хорошо*** и т.п. Без участия обстоятельственных словоформ данные высказывания оказываются невозможны (в одной из предыдущих глав уже шла речь о том, что для реализации своего значения предикат может требовать не управляемой, а примыкающей формы).

Вычлняемые человеческим сознанием фрагменты информации, предназначенные для формирования высказывания, достаточно размыты и мобильны. Это значит — противопоставление «субстанции» и ее «признака», а также «признака статического» и «динамического», относительно и обусловлено массой факторов, в том числе внутриязыковых. Тот же О. Есперсен писал: «Лингвистически различие между «веществом» и «качеством» не может иметь большого значения. С философской же точки зрения можно утверждать, что мы познаем вещества только через их качества; сущность каждого вещества состоит в сумме тех качеств, которые мы в состоянии воспринять (или понять) как связанные друг с другом» (Есперсен 1958, 81). А Анна Вежбицкая, развивая эту проблематику в специальной статье «Что значит имя существительное?» (Вежбицкая 1999, 91—107 и др.), усматривает главное отличие адъективов от субстантивов в том, что первые воплощают в себе операцию **дескрипции** (прилагательное описывает референт, характеризует его), а вторые — операцию **категоризацию** (существительное включает референт в тот или иной класс, относит к тому или иному типу). И, кажется, примеры типа рус. *калека, толстяк, глухой, слепой, больной, веснушчатый* и т.п. «работают» на эту теорию. Стоит прилагательному стать обозначением класса референтов, как оно тут же субстантивируется, превращается в существительное. Достаточ-

но вспомнить известные примеры типа *ученые глухие* и *глухие ученые*: первое слово в обоих случаях описывает (определяет), а второе — категоризирует.

Но хиазм (о теоретических основаниях которого уже шла речь в 3-й главе) сравнительно редко опирается на конверсию (как в только что приведенном примере); чаще он использует разнообразные словообразовательные средства, и это по-своему подтверждает относительность противопоставления прилагательных и существительных в сознании носителя языка. Проиллюстрируем сказанное цитатами из художественной литературы:

Мой сосед справа похож на молодого Ива Монтана — тот современный тип внешности, о котором можно сказать: **«уродливый красавец»** или **«красивый урод»** (В. Токарева. Инструктор по плаванию).

Отираясь в коридорах райкома или крайкома, Валерий Павлович постепенно усвоил эту непередаваемую **собранную раскованность** (или **раскованную собранность**) номенклатурных мужиков (Ю. Поляков. Апофегей).

Вы мне по секрету ответить могли бы:

я — **рыбная мышь** или **мышная рыба?**

(В. Высоцкий. Песня Мыши)

В конце концов, *уродливый красавец* или *красивый урод* и т.п. — это вариации на одну и ту же тему; набор некоторых качеств создает сущность, а порядок «освоения» этих качеств не столь важен для процесса познания.

Еще пример. В стихотворении Андрея Вознесенского «Лобная баллада» говорится о казни царской любовницы. Голова казненной женщины упрекает самодержца:

Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои **руки липкие**
солонь?

Как известно, краткая форма прилагательных, используемая в функции сказуемого, обозначает динамический признак (в отличие от полной формы, обозначающей признак статический, ср.: *Человек болен* и *человек больной*). Но то, что в приведенной цитате одно из определений — *липкие* — выступает как постоянный признак окровавленных рук, а другой — *солонь* — как временный, в целом, конечно, случайно. (Примерно с таким же правом можно было бы сказать «Зачем твои соленые руки липки?»)

Получается, что при уже выбранной синтаксической модели распределение слов по отдельным позициям зависит от «взгляда» говорящего на референтную ситуацию. Но, вместе с тем, процесс организации высказывания, протекающий во внутренней речи, должен учитывать наличие разных «кандидатов в словоформы» и их возможные соотношения между собой. Недаром еще в конце XIX в. представитель немецкой школы младограмматиков Герман Пауль говорил об определении как о предикате, «сдвинутом» на второстепенные позиции: «Определение есть не что иное, как деградировавшее сказуемое, которое не имеет самодовлеющего значения в предложении, так что после того как оно произнесено, подлежащее (дополнение) может вступить в связь с еще одним сказуемым» (Пауль 1960, 165).

Отношение к прилагательному как к «предикату второго сорта» приобретает особый смысл на фоне разрабатывавшейся в советском языкознании концепции речевой деятельности. По Л.С. Выготскому, внутренняя речь строится как последовательное приписывание новых признаков некоторой предыдущей, уже заданной в сознании структуре. «Во внутренней речи нам никогда нет надобности называть то, о чем идет речь, т.е. подлежащее. Мы всегда ограничиваемся только тем, что говорится об этом подлежащем, т.е. сказуемым. Но это и приводит к господству чистой предикативности во внутренней речи» (Выготский 1982, 343). В таком случае мысль формируется по модели, так сказать, матрешки или снежного кома, в котором каждый новый слой объемлет целиком все предыдущие. Но далее, в ходе вербализации, эта мысль перестраивается в соответствии с заложенной в памяти системой синтаксических моделей.

Не забудем также, что, попадая во «внешнюю речь», прилагательное активно участвует в номинационных процессах. Нередко новое понятие обозначается именно сочетанием существительного с прилагательным, ср. сравнительно новые комбинации в русской речи: *телефонное право, контрольный выстрел, горячая линия, зеленая волна, сухой спирт, жидкий дым, промышленный шпионаж, черные копатели, административный ресурс, властная вертикаль, лежащий полицейский, серийный убийца, птичий грипп* и т.п. И трудно сказать, какой компонент в этих сочетаниях важнее: определяемое или определение; только в их сочетании рождается особое понятие. Фактически это новые — составные — термины. Ведь *лежащий полицейский* — это не полицейский, а искусственно созданное препятствие на дороге, замедляющее ход автомобиля; *сухой спирт* — не спирт, а особый вид горючего для туристов и охотников; *жидкий дым* — не дым, а специальная кулинарная приправа, придающая блюду эффект копченого вкуса, и т.д. Определение и определяемое семантически срастаются, «перетекают» друг в друга по законам семантического согласования. Поэтому, допустим, *жидкие волосы* — это одно, а *жидкий дым* — совсем другое. И если говорящий позволяет себе в подобных случаях объединить два существительных сочинительной связью, то, скорее всего, он это делает с провокационной целью, желая эпатировать читателя. Вот как пишет Петр Вайль о Николае Островском:

Он весь там, где пайки и чувства скудные, деньги и слова казенные, стрижки и мысли короткие, штаны и раны рваные, нитки и женщины суровые, мятежи и желания подавленные, дороги и собрания долгие, кони и расправы быстрые («Карта Родины»).

Сочинительные ряды здесь (*стрижки и мысли, штаны и раны, нитки и женщины* и т.п.) заведомо искусственны, и только наличие общих определений *короткие, рваные, суровые* (а, по сути, определений-омонимов) удерживает эту конструкцию от семантического распада, разложения. Читатель понимает, что с ним «играют», что вся конструкция сродни каламбурным построениям.

Вывод, который следует из сказанного, — это то, что, по крайней мере, в некоторых случаях на долю прилагательного в тек-

сте выпадает довольно значительная информационная нагрузка. Можно ли вообще отграничить коммуникативно факультативные определения от коммуникативно необходимых, при условии, что последние даже не входят в состав синтаксической модели?

Попытку ответить на этот вопрос предприняла еще в 70-е годы саратовская исследовательница Г.Г. Полищук (Полищук 2011). Очевидно, что к коммуникативно необходимым относятся, во-первых, те адъективы, присутствие которых диктуется структурой словосочетания. Такие прилагательные определяют названия частей тела (*лицо, глаза, губы, руки* и т.д.) и обобщенных категорий (*рост, вес, размер, время, цвет, нрав, голос, походка...*). Можно сказать, допустим, *человек веселого нрава, ткань серого цвета, девушка с зелеными глазами, юноша с танцующей походкой* и т.п., и совершенно невозможно *человек нрава, *ткань цвета, *девушка с глазами, *юноша с походкой. Во-вторых, обязательными в коммуникативном (и когнитивном) плане являются прилагательные, которые уточняют предмет, выделяют его из ряда подобных, отсылают к предшествующему или последующему фрагменту текста и т.д. И это касается не только уже упомянутых выше составных терминов (вроде *сухой стирт* или *промышленный шпионаж*), но и сочетаний, ежедневно употребляющихся в речевом обиходе, например: *черствый хлеб, игрушечная лошадка, образованные люди, свадебное платье* и т.п.

Что же касается коммуникативно факультативных определений, то они «могут употребляться с существительными, лексическое значение которых или грамматическая форма уже называет данный признак или предполагает его» (Там же, 47). Примерами могут служить *белый снег, нескончаемая вереница, безобразное чудовище, острый шпиль, грубое ругательство, арифметические расчеты, глубокое внимание* и т.п. Ясно, что эти атрибуты скорее подтверждают и «усиливают» значение существительного, чем несут новую информацию.

Любопытно, а как соотносятся эти два вида определений в художественных текстах? У того же автора есть на этот счет статистические сведения. Оказывается, что, скажем, в прозе

М. Горького — до 25% коммуникативно факультативных определений, в то время как у А. Чехова их доля не превышает 10% (Там же, 43—46). Это заставляет вспомнить совет, который Чехов давал в 1899 г. молодому еще Горькому: «...Вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: «человек сел на траву»; это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

Но интересно, что картина несколько меняется в ситуации, когда к одному и тому же слову приводится несколько определений (в том числе связанных сочинительными отношениями). У Горького это дает примерно тот же процент — 27%, а у Чехова доля таких определений возрастает до 35%! Примеры: *ужасная, безысходная нужда; чувствовала в невестке близкого, родного человека; это был неосновательный, ненадежный мужик* и т.п. (Там же, 58—59). С одной стороны, это еще одно проявление особой роли, которую играет сочинительная связь в процессах текстопорождения. А с другой — оказывается, использование коммуникативно факультативных определений может служить яркой чертой идиолекта писателя!

Прилагательное выполняет в тексте и важную композиционную роль. В частности, если адъектив появляется во фразе неожиданно (немотивированно), то это, скорее всего, свидетельство «сдвига оптики», замены в повествовании общего плана на крупный. Конкретные высказывания без такого определения выглядели бы странными или даже неправильными (Э. Тумазу). Вот три примера.

В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас через очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы устроились на лавочке

и принялись пить из тяжелых оловянных кружек **довольно холодное** пиво (И. С. Тургенев. Ася).

Мы быстро бежали, конвоируемые ужасным морозным ветром. Мы бежали, подпрыгивая чуть ли не до самой луны. Было очень холодно, но мне почему-то хотелось пить, к тому же **громадная янтарная луна** напоминала мне самовар (Вс. Иванов. Похождения факира).

На площади появились три всадника и карета.

Это был капитан дворцовой гвардии граф Бонавентура в сопровождении двух гвардейцев. В карете ехал дворцовый чиновник со сломанной куклой наследника Тутти. <...>

Черная карета остановилась (Ю. Олеша. Три толстяка).

Привсей разнородности приведенных тут цитат — хронологической, жанрово-стилистической и т.п. — есть нечто в когнитивном плане, что их сближает. За определением-прилагательным здесь везде фактически скрывается целая пропозиция. По сути, *довольно холодное пиво* в первом примере означает: ‘пиво было довольно холодное’, *громадная янтарная луна* во второй цитате — ‘луна была громадная, янтарного цвета’ и т.д. Говорящий (писатель) таким образом стремится привлечь внимание читателя к новому, более частному, но укрупненному образу.

Эффект «ненужной детали», такой естественный для семантики прилагательного, способствует правдоподобию, достоверности описываемой ситуации. Вот, скажем, зачем в следующей цитате писатель упоминает, что карандаш был длинным?

Император с **длинным** карандашом в руке расшифровывал значение слов (Ю. Тынянов. Малолетний Витушишников).

Или зачем приводятся аналогичные подробности в следующем тексте?

Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из **чугунного** горшочка **гречневую** кашу (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев).

По большому счету эти определения необязательны — ни для развития сюжета, ни для характеристики персонажей. Однако благодаря им усиливается эффект присутствия и читатель проникается дополнительным доверием к автору. Ролан Барт, известный французский семиолог, прямо связывал это с уже упомянутой операцией дескрипции (описания) в сознании носителя языка. Он рассуждал так: «Описание представляется «исключительной принадлежностью» так называемых высших языков — как ни странно, именно потому, что оно лишено какой-либо целенаправленности в плане поступков или в плане коммуникации» (Барт 1989, 394). И далее: «...Возникает **эффект реальности**, основа того скрытого правдоподобия, которое и формирует эстетику всех общераспространенных произведений новой литературы» (Там же, 400).

Приводившиеся выше примеры хиазма (типа *уродливый красавец или красивый урод*) дают повод для того, чтобы специально остановиться на словообразовательной и синтаксической мобильности прилагательных. Дело в том, что атрибут в тексте нередко относится совсем не к тому слову, которое он формально определяет. Как правило, это свидетельствует о том, что в ходе формирования высказывания в сознании говорящего произошла перестройка его синтаксической структуры. Писатель Валентин Катаев вспоминал по конкретному поводу:

Крахмальный воротник, <...> высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона. В двадцатых годах я бы непременно написал: **бристольский воротничок**. Это у нас тогда называлось переносом эпитета. Кажется, я сам изобрел этот литературный прием и ужасно им злоупотреблял («Трава забвения»).

Перенос эпитета «изобретен» был, конечно, задолго до Катаева. Но то, что данная мыслительная процедура весьма жизнеспособна и популярна в речевой практике, мы уже имели возможность наблюдать в случаях с рассмотренными ранее примерами типа *пригородные кассы* ‘кассы по продаже билетов на поезда, следующие до пригородных станций’, *докторский совет* ‘совет по приему к защите докторских диссертаций’, *властные струк-*

туры ‘структуры, обеспечивающие устойчивость власти’, *текущие документы* ‘документы, отражающие особенности текущего момента’ и т.п. Во всех этих случаях прилагательное вступает в непосредственную связь с существительным, отстоящим от него в глубинной структуре на несколько шагов. Пример из современной литературы.

Дороже стоили внестатусные жанровые фигурки — с рукою, устремленной вдаль, или на *задумчивой* скамейке, на трибуне митинга! За рабочим столом! (М. Веллер. Легенды Арбата).

Понятно, что *задумчивость* — свойство человека. И если вдруг этот признак приписывается скамейке, то носитель языка должен найти данной метафоре синтаксическое основание, примерно такое, как: *задумчивая скамейка* — это ‘скамейка, предрасполагающая к *задумчивости* того, кто на ней сидит’...

При всем при том, что прилагательные — классические дескрипторы, а не категоризаторы, они аккумулируют в себе познавательный опыт языкового коллектива. С помощью адъективов мы различаем не только качества и отношения (ср. общепринятое деление на прилагательные качественные и относительные), но также постоянный или временный характер признака (это различие проявляет себя, в частности, в позиционном размещении атрибутов по отношению к имени существительному). Таким образом дескрипторы могут использоваться для *субкатегоризации*, т.е. для выделения актуальных подклассов. Скажем, *дополнение* в русском языкознании — это определенная грамматическая категория. Но разновидности этой категории, т.е. подклассы дополнений, устанавливаются с участием определений, а именно: *прямое* и *косвенное дополнения*.

Принадлежность прилагательного к тому или иному семантическому разряду, к той или иной лексико-семантической группе, в значительной степени предопределяет возможности его семантического развития. А это значит — перспективы его использования в когнитивных процессах. В частности, из научной литературы известно, что прилагательные со значением зрительного восприятия легко развивают в себе оттенки, связан-

ные с пониманием, познанием (ср.: *очевидная ошибка, прозрачная схема, слепое подражание*), прилагательные со значением тактильных ощущений — оттенки стабильности/нестабильности (ср.: *скользкий человек, твердая власть, осязаемая разница*), а прилагательные со значением температурных ощущений — эмоционально-оценочные оттенки (ср.: *прохладные отношения, теплые чувства, горячий привет*) и т.п.

Закономерности, по которым прилагательные сочетаются с существительными, в современной лингвистике кладутся в основу особой области семантического анализа — **композиционной семантики**. Наиболее общая и продуктивная здесь идея — мысль о соотносимости смысловой структуры определяемого и определяющего, т.е., фактически о семантическом согласовании, которое имеет место между существительным и прилагательным.

В частности, в пионерском исследовании Яна Аартса и Джозефа Калберта сочетаемость прилагательных с существительными в английском языке описывалась в терминах порождающей семантики. Для этого имени были разбиты на классы, каждому из которых приписывалась комбинация некоторых первичных семантических признаков из числа следующих: «конкретность», «одушевленность», «человечность», «оформленность», «мужскость», «животность», «артефактность», «познаваемость», «состояние», «действие», «физичность», «измеримость», «качественность», «оценочность» (Aarts, Calbert 1979, 22–24). Для классификации прилагательных, в частности, оказывалось достаточным использование всего лишь трех признаков: «состояние», «измеримость» и «физичность». По утверждению авторов, соотнесение признаков, заложенных в семантике прилагательных, с признаками, присущими существительным, и определяет возможность/невозможность (или же стандартность/окациональность) соответствующих сочетаний, так же как типовые пути развития метафорических значений. Скажем, если прилагательное *deep* ‘глубокий’ вступает в сочетание с существительным *thought* ‘мысль’, то в его семантической структуре неизбежно происходит изменение: сема вертикального измерения вытесняется семой способа

действия, навязываемой семантикой существительного (Там же, 67–68).

Вообще понятно, что при попытке осмыслить нетривиальное сочетание прилагательного с существительным носитель языка будет подыскивать в значениях этих слов семы, которые могли бы их объединить. В русской грамматике данный механизм принято называть семантическим согласованием. Обычно иллюстрациями здесь служат предикативные синтагмы вроде *Птица летит* или *Собака лает*, но те же законы внутренней связи распространяются и на интересующие нас атрибутивные синтагмы. К примеру, почему выражение *мудрый старик* воспринимается носителем языка нормально (здесь определение коммуникативно факультативно), а *мудрый мальчик* кажется странным? Потому что в значении слова *старик* имеется та же сема 'обладающий большим жизненным опытом', которая присутствует в *мудрый*; а в слове *мальчик* ее нет.

Итак, получается, что для того, чтобы понять и принять необычное словосочетание, в том числе состоящее из существительного и определяющего его прилагательного, носитель языка должен либо реконструировать его синтаксическую подоплеку, либо найти в данных (сочетающихся) словах общие семы — в противном случае выражение рискует остаться непонятым.

В России идеи композиционной семантики развиваются в работах Е.С. Кубряковой, Е.В. Рахилиной, Н.Н. Болдырева, Н.В. Юдиной и др. В частности, Е.В. Рахилина, исследовавшая комбинаторику имен с предметным значением, приходит к выводу, что правила сочетаемости имеют семантическую природу и являются не столько собственно лингвистическими, сколько переходят в сферу «здорового смысла» и того, что принято называть языковой картиной мира (Рахилина 2000, 338).

А Н.В. Юдина делит все комбинации существительных с прилагательными, в зависимости от того, насколько их семантика выводима из суммы значения составляющих, на две большие группы: **декомпозиционные сочетания**, в составе которых части семантически как бы отрицают друг друга (*пластмассовые тюльпаны, святой отец, фальшивые деньги, мертвые души* и т.п.) и **композиционные сочетания**, в которых сложение значений

представляется естественным (*карие глаза, осенний марафон, шоковая терапия, афганский синдром* и т.п.). Однако, как следует уже из приведенных примеров, на эти конструкции налагаются селективные ограничения, обусловленные опять-таки не только знанием языка, но и знаниями о мире (Юдина 2006, 307). Выделенные две группы, в свою очередь, подвергаются дальнейшей детальной классификации. Правда, получаемые в результате подгруппы разграничиваются не так уж строго, но они важны для нас как отражение того пути, который проходит человеческое сознание в своей дескриптивной и субкатегоризационной деятельности. Носителю языка нужно было оторваться, отвлечься от конкретных значений прилагательного и существительного, с тем чтобы создать новое сочетание, семантика которого устроена по синергетическому (эмерджентному) принципу.

Второй класс слов, который в начале главы условно был назван синтаксическими маргиналами, — это **наречия**. Но их роль в семантической структуре высказывания тоже не проста. Наречие (латинский термин *adverbum*, адверб) по своей природе призвано обслуживать глагол, характеризовать глагольные действия и состояния. По своей природе это тоже дескриптор. Однако в поверхностной структуре высказывания сплошь и рядом встречаются случаи, когда наречие находится в прямой зависимости не от глагола, а от существительного (а также от прилагательного или другого наречия). Вот несколько примеров.

Я люблю болтаться на шлюпках и вельботах. Люблю **воду близко**. Люблю, когда она бесится и вертится между бортом шлюпки и судном (В. Конецкий. Морские сны).

Из раздевалки Денисов прошел к багажному отделению, миновал кассовый зал. Вышел на перрон. **Скамьи снаружи** были пусты (Л. Словин. Теннисные мячи для профессионалов).

Дедушка всегда брал на рыбалку **консервы похуже**, потому что получше могли еще полежать, а **похуже** лежали уже давно и вот-вот могли испортиться (П. Санаев. Похороните меня под плинтусом).

Вода близко, скамьи снаружи, консервы похуже — это всё словосочетания, в которых наречие играет роль определения при существительном. Очевидно, за подобными конструкциями можно увидеть определенные трансформационные процессы, произошедшие в сознании говорящего, типа ‘скамьи, которые стояли снаружи на перроне’ → *скамьи снаружи*. В цитате из повести П. Санаева можно заметить и еще более глубокую перестройку мыслительной структуры: ‘консервы, которые были похуже’ → *консервы похуже* → *похуже*. И это далеко не редкий случай, когда наречие с легкостью становится в речи представителем именной группы или даже целого высказывания. Сравним еще следующие два примера.

Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет **внутри** (И. Бунин. Окаянные дни).

Платил Монгол своим подручным не скупясь, и Косой сколотил за полтора года **прилично**, дельцы боялись его чуть ли не больше, чем самого Монгола (Ф. Незнанский. Ящик Пандоры).

Здесь *внутри* означает ‘что-то внутри’ (сердце, душу и т.п.), а *прилично* — ‘приличное состояние’ (капитал и т.п.). Компрессия глубинной синтаксической структуры, завершающаяся появлением во внешней речи «самодостаточного» наречия, есть, по сути, разновидность «упаковки» информации, имеющая прямое отношение к когнитивным процессам.

Необычайная синтаксическая мобильность, приспособляемость наречий к синтаксической ситуации оказывается свойством, весьма выгодным для говорящего в его тактических ходах. В русском языке это особенно касается отадъективных наречий на *-о*, *-е*, о которых уже шла речь в предыдущей главе. Эти адвербы, потенциально присутствуя в системе языка (типа *бронзово*, *беспризорно*, *паровозно*, *серебряно*, *взрывно*, *ржаво*, *школьно* и т.п.), требуют некоторых предпосылок для своей речевой реализации. И, конечно, определенные ограничения здесь есть. Как писал в Предисловии к «Фразеологическому словарю русского языка» А.И. Молотков, «можно сказать *одержать блестящую*

победу и нельзя *победить* «блестяще», можно *наносить огромный вред* и нельзя «огромно» *вредить* и т.п.». Появление в тексте такого (отсутствующего в готовом виде в словаре) наречия очень часто свидетельствует именно о том, что во внутренней речи ему предшествовало имя — существительное или прилагательное. Ср. примеры:

Было тепло и **курортно** (Л. Улицкая. Медя и ее дети; здесь *курортно* — ‘как бывает на курорте’ или ‘как должно быть на курорте’).

Кожаная сумка тоже была приметой Лялиных времен и, по ее установлению, носилась **молодежно**, через плечо (Б. Золотарев. Простое окончание; *молодежно* — ‘как носит молодежь’).

Чуллок думает: зачем нога, когда и без нее так **чулочно!** (М. Шишкин. Венерин волос; *чулочно* — ‘хорошо быть чулком’).

Таким образом, если рассматривать структуру фразы в динамическом аспекте, под углом зрения внутренней речи, то получается, что говорящий высоко (хотя и подсознательно!) оценивает возможности использования наречия в различного рода конструкциях и его гибкие семантико-словообразовательные связи с иными частями речи. Иными словами, синтаксическая «всеядность» адвербов способствует их активному вовлечению в процессы внутреннего преобразования строящейся фразы.

Тем более это можно сказать применительно к тем славянским языкам, в которых образование отадъективных наречий закреплено литературной нормой. В прошлых главах уже упоминалось об этом свойстве чешского языка. Примерно то же можно сказать о польском, где легко образуются сочетания типа *badać komputerowo* ‘исследовать с помощью компьютера’, *wychowywać ideowo* ‘воспитывать в идейном отношении’, *powiedzieć obrończo* ‘сказать в порядке защиты’, *zgodzać się światopoglądowo* ‘соглашаться в плане мировоззрения’ и т.п. (симптоматично, что в русских переводах для передачи польского наречия везде требуется несколько слов). Два примера из художественной литературы:

Jak widzisz, **nie wytrzymałam nerwowo** (J. Hen. Oko Dajana; ‘как видишь, нервы у меня не выдержали’, букв. ‘я не выдержала нервно’).

Dzieci urządzone, żona pracuje **społecznie...** (T. Konwicki. Czytało; ‘дети пристроены, жена работает на общественных началах’).

Наречие, уцелевшее в результате преобразований глубинной структуры фразы, может «впитать» в себя целую пропозицию. Что значит, например, обстоятельство *спутанно* в следующем русском контексте?

Мать сидела у окна в кресле и была в тот день какая-то особенно желтенькая. На коленях у нее **спутанно** лежали разноцветные нитки и какое-то вышивание... (М. Агеев. Роман с кокаином).

Это значит: ‘...на коленях лежали нитки’ и ‘нитки были спутаны’. В поверхностной структуре произошла конъюнкция (сложение) двух пропозиций, и наречие оказалось очень удобным инструментом для такой операции. Точно такое же преобразование мы можем наблюдать в следующей цитате.

Возле тира **потно** резвились бронзовые волейболисты и жестами приглашали девушек в кружок (Ю. Алексеев. Бега).

Это значит, очевидно: ‘возле тира резвились волейболисты’ и ‘тела их были потными’. Конечно, адverb здесь семантически не связан с глаголом, у него своя смысловая нагрузка в структуре высказывания. Аналогичные примеры можно найти в любом славянском языке, ср. белорусское:

Усё **соладка** пераблыталася ў свядомасці — і палёт готыкі, і гул крокаў на вячэрніх вуліцах... (Р. Семашкевіч. Бацька ў калаўроце; перевод: ‘всё сладко перемешалось в сознании — и полет готики, и гул шагов на вечерних улицах...’). Фактически и здесь мы имеем сложение двух пропозиций: ‘всё перемешалось в сознании’ и ‘от этого было сладко’.

Важно подчеркнуть, что у наречия в высказывании своя, особая функциональная нагрузка. Поэтому неудивительно, что и семантическая структура адверба не копирует семантической структуры производящей основы (прилагательного). Можно согласиться с болгарским исследователем: «Семантическая структура наречия более самостоятельна, и ей чуждо семантическое взаимопроникновение с определяемым словом, как это происходит с прилагательным. Значение наречия весьма обобщенно, и его невозможно конкретизировать синтагматически. Оно выражает отношение предмета к среде и времени, но не изменяется в сочетаниях с разными словами, как меняется значение прилагательного. <...> Значение наречия настолько обобщенно, что становится универсальным признаком действия, предмета и качества, а это уже достаточная основа для его примыкания и к существительным, и к прилагательным, и к другим наречиям, при том, что оно остается в кругу глагольных связей и отношений» (Георгиев 1983, 9).

Нередко одна из пропозиций, подвергающихся конъюнкции при участии наречия, имеет метаязыковой характер. Это значит — она содержит общую объективно-модальную оценку второй пропозиции (характеризует ее с точки зрения соотносительности с действительностью). Получается, если пользоваться терминами, введенными Ш. Балли, что вся фраза выражает собой диктум, а наречие — модус. Иногда подобные наречия и называют модификаторами (их не просто отграничить от модальных и вводных слов). К их числу в русском языке относятся такие слова, как *действительно, несомненно, конечно, очевидно, обязательно, решительно, обычно, необычно, возможно, парадоксально, странно, неожиданно, напрасно* и др. (В других языках есть свой набор «метапредикатов», который может несколько отличаться от русского. В частности, на польском материале метапредикативная функция адвербов была исследована Магдаленой Данелевичевой.) Примеры такого особого употребления наречий:

Из окна гостиницы я видел: ослепительно и **ненужно** горел внизу ярко-розовыми огнями универмаг «Centrum», запертый на ночь...

(Ю. Трифонов. Серое небо, мачты и рыжая лошадь; здесь сочетание диктума и модуса: ‘ослепительно горел огнями универмаг’ и ‘это было никому не нужно’).

Негодяй **гарантированно** полезет в кабинет, тебе останется лишь выследить его (Д. Донцова. 13 несчастий Геракла; смысл опять-таки двойной: ‘негодяй полезет в кабинет’, и ‘я тебе это гарантирую’).

Наречие, характеризующее всю смысловую структуру высказывания в целом, не обязательно должно заключать в себе модальную оценку, быть метаязыковым предикатом. Иногда оно просто в качестве онтологической предпосылки ограничивает пропозицию каким-то одним аспектом, одной сферой познания. Тут наречие попадает в категорию свободных синтаксем, которые после работ Н.Ю. Шведовой получили в русской лингвистической традиции название детерминирующих членов предложения, или детерминантов. Примеры:

Социально N есть демагог, дурак, карьерист, а **официально** — серьезный хороший оратор, прекрасный руководитель. <...> Если N ездит в заграничные командировки, то **социально** это означает, что он урвал, ухитрился, устроился и т.д., а **официально** это означает, что он проделал большую работу, участвовал, принес пользу (А. Зиновьев. Зияющие высоты).

Ведь должен же быть в нашей огромной стране хоть один мужчина, который бы мне по всем показателям подходил! <...> **Самостоятельно**, — говорю, — мои поиски постоянно заканчиваются провалом (В. Пьецух. Потоп).

Социально и *официально* в первой цитате означают соответственно: ‘в социальном плане’, ‘в официальном плане’, а *самостоятельно* во второй — ‘с точки зрения самостоятельных усилий’ и т.п.

Как и модификаторы, детерминанты как бы выносятся за скобки семантической структуры фразы, составляя своего рода предпосылку для понимания последней (для детерминантов эта

их роль подчеркивается и позиционно: они обычно находятся в абсолютном начале высказывания).

С позиций когнитивной лингвистики чрезвычайно важно, что наречия в русском языке легко переходят в категорию состояния, или **предикативов**. Предикативы — особый грамматический класс, фактически новая часть речи (на существование которой впервые обратил внимание Л.В. Щерба). Она характеризуется в высказывании предикатной функцией при отсутствии единых морфологических признаков. В ее составе — и бывшие существительные, и бывшие глаголы, и даже прилагательные или частицы (*пора, страх, лень, жаль, вправе, хватит, зря, замуж, навеселе, неугоду, поделом, кстати, впору, в ходу, хорош, нельзя, надо* и др.). Но основную базу для формирования класса предикативов составляют именно наречия на *-о, -е*. Это знаменательно: признак действия регулярно приобретает в нашем сознании способность обозначать состояние как таковое! Примеры из современной литературы:

У меня нет к ней жалости. Но если б я всерьез потрудился вызвать в памяти ее прежний образ, мне стало бы **слёзно** (Ю. Нагибин. Дневник).

Весело на главной площади страны нашей, **музыкально** (В. Сорокин. День опричника).

Нам было **молодо** обоим
(А. Вознесенский. Стансы).

Хотя надо сказать, что и предикативы, в свою очередь, могут пополнять класс наречий, как в следующих случаях:

...Много бы я дал теперь, чтобы разыскать, расспросить эту неизвестную, но, верно, и она **безопасно** мертва (В. Набоков. Истребление тиранов).

Меланхолик же в испуге
Стыдно смотрит на народ
(Н. Олейников. Пучина страстей).

Первичной, основной для *безопасно* и *стыдно* функцией является в русском языке роль сказуемого (*Здесь безопасно; Мне стыдно*); в данных же контекстах эти слова как бы «вспоминают» о том, что образованы они по образцу наречий.

Мы видим, что наречия обладают в динамической структуре фразы рядом достоинств. Кроме уже перечисленных, отметим еще, что они позволяют разгрузить присубстантивный (атрибутивный) уровень структуры фразы, освобождая его для других возможных определений. Мы могли это наблюдать уже на примерах вроде *на коленях спутанно лежали разноцветные нитки* (ср. вариант *на коленях лежали спутанные разноцветные нитки*), *потно резвились бронзовые волейболисты* (ср.: *резвились потные бронзовые волейболисты* и т.п.). Еще иллюстрация.

Обута была Зинаида *мягко*, в разрезанные впереди войлочные тапочки, к которым у нее дома были и галоши на мокрое время (Л. Улицкая. Народ избранный; вариант *...обута была в мягкие, разрезанные впереди войлочные тапочки* был бы перегружен определениями).

Главное достоинство наречий — их словообразовательная, семантическая и синтаксическая мобильность, способность взаимодействовать в процессе формирования фразы с иными грамматическими классами и принимать на себя необходимую часть общей смысловой нагрузки.

Поэтому как наречия, так и прилагательные можно считать «синтаксическими маргиналами» только с большой долей условности. На самом деле эти грамматические классы слов играют в смысловой структуре высказывания важную роль. Причем, поскольку оба эти класса дескрипторов активно участвуют в процессах внутренних синтаксических преобразований, то и во внешней речи они допускают довольно широкое, размытое толкование. Иначе говоря, им изначально присуща некоторая семантическая амбивалентность. В каждом конкретном случае реципиент приводит это широкое толкование в соответствие с тем, которое диктуют ему законы языка, реальный контекст и предшествующий жизненный опыт.

Вот, скажем, мы читаем в самом начале художественного произведения:

В деревянном, еще прохладном отделении третьего класса сидели, кроме Франца: две плюшевых старушки, дебелая женщина с корзинной яиц на коленях и белокурый юноша... (В. Набоков. Король, дама, валет).

Что значит *две плюшевых старушки*? Это ‘старушки в плюшевых платьях’? Или ‘старушки со сморщенной, будто плюшевой, кожей’? Или ‘старушки древние, как плюш (вышедший нынче из моды)’? Или ‘старушки, напоминающие собой мягкие плюшевые игрушки’? Или еще что-то — пятый, шестой вариант?

У читателя этой цитаты есть два выхода.

Один — попытаться вывести в такой ситуации некую среднюю, равнодействующую всех возможных семантических вариантов. Результатом будет примерно то, что предлагают применительно к относительным прилагательным толковые словари, а именно — максимально обобщенное, **размытое** толкование слова: *плюшевый* — ‘имеющий отношение к плюшу’, и всё. В таком случае *плюшевые старушки* и, положим, *плюшевая ткань* оказываются в речи совершенно равноправными и однотипными номинациями. (Хотя наверняка данное решение обеднит понимание художественного текста.)

Другой выход для читателя — попытаться вложить в определение *плюшевый* некоторое **особое**, «разовое», окказиональное значение. Однако при отсутствии контекстуальных подсказок процесс семантизации пойдет по накатанным рельсам стандартного метафорического переноса. Это значит: носитель языка, как уже говорилось, будет подыскивать семы, которые могли бы объединить значение существительного и значение связанного с ним прилагательного. Скорее всего, благодаря ярким семам, содержащимся в слове *старушка*, определение *плюшевый* придется семантизировать как ‘древний’ или как ‘морщинистый’.

Аналогичным образом поступает носитель языка и с употребленными в тексте наречиями. Что означает, в частности, слово *лагерно* в следующем контексте?

Есенин в описываемом году был запрещен, лагерно популярен (А. Битов. Пушкинский дом).

Это значит: ‘популярен в лагерях’? Или: ‘популярен, несмотря на опасность того, что читателя могли сослать в лагерь’? Или еще вариант: ‘популярен до такой степени, что за распространение его стихов грозили лагеря’? И т.п.

Контекст ведь далеко не всегда дает достаточные основания для реконструкции исходной смысловой структуры и редко содержит подсказки для восстановления ее синтаксической предыстории. И тогда читатель (или вообще слушающий) ищет прецеденты в своей речевой деятельности или опирается на свой практический опыт...

Дескрипция, приписывание признака, — важная часть мыслительной деятельности человека. Конечно, типичным дескрипторам — прилагательным и наречиям — отводится не такое уж заметное место в лингвистических описаниях. Даже упоминавшееся выше определение прилагательного как «деградировавшего предиката» выглядит несколько обидно. В каком-то смысле это действительно так. Но если рассматривать смысловую структуру высказывания в движении, в динамике, во взаимодействии всех ее компонентов, то, как мы могли убедиться, дескриптор — это возможный заменитель предиката или, так сказать, «резервный предикат». Кроме того, прилагательные и наречия позволяют выразить модусные значения — оценку ситуации с точки зрения достоверности, реальности, возможности и т.п.

Чем сложнее и утонченнее процессы познания, тем разнообразнее и гибче должны быть используемые для этого языковые структуры. Это как бы само собой подразумевается. Но интересно, какое место среди языковых средств занимают синтаксические категории и классы.

Известно, что на этапе контроля за речевым произведением (на выходе высказывания во внешнюю речь) говорящий проверяет его соответствие замыслу и языковым правилам. Но под последними имеются в виду преимущественно выбор слов и их форм. Что же касается синтаксических конструкций, то они ред-

ко становятся объектом правки. Как отмечает болгарская исследовательница Искра Ангелова, «самоконтроль и самоцензура обычно действуют главным образом на лексическом и морфологическом уровнях и практически никогда не доходят до уровня синтаксиса» (Ангелова 1994, 7).

Любопытно, почему? То ли потому, что в таком случае, возвращаясь к выбору синтаксической модели, слишком много пришлось бы исправлять? (Что проблематично, по крайней мере, в условиях устного общения.) То ли потому, что синтаксические значения воспринимаются говорящим как более «автоматизированные», задаваемые самим языком и мало подвластные человеку? Стоит вспомнить в этой связи о психолингвистических экспериментах Н.И. Жинкина, в которых испытуемые должны были восстановить высказывание из предъявляемых враспыленную слов. Задача была трудной до тех пор, пока не удавалось нащупать общую схему построения фразы: при этом, по словам испытуемых, «синтаксический оборот приходил в голову сразу, как нечто целое». Это — еще одно свидетельство того места, которое занимает синтаксис в речемыслительной деятельности человека.

ПСЕВДОВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ КОГНИЦИИ

В качестве эпиграфа к своей знаменитой повести «Понедельник начинается в субботу» фантасты Аркадий и Борис Стругацкие взяли, по их определению, школьный анекдот:

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».

Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?

Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

Рыба сидела на дереве — яркий пример того, что мы далее будем называть псевдовысказываниями.

Псевдовысказывания — это продукт речевой деятельности, который:

а) не вызывается к жизни коммуникативной потребностью говорящего (в собственном, утилитарном понимании этого выражения);

б) не имеет за собой конкретной референтной ситуации — и в этом плане его смысл следует считать условным или искусственным;

в) не требует контекста. Очень часто контекстом для псевдовысказываний оказываются метаязыковые выражения типа «рассмотрим следующий пример», или «прочитайте следующее предложение», или «запомни такую фразу» и т.п.

Впервые внимание к подобным фактам привлек В.А. Звегинцев в связи с попыткой применить общеметодологическое противопоставление языка и речи к единицам синтаксического уровня. Он назвал эти факты *псевдопредложениями*. По словам В.А. Звегинцева, псевдопредложения «носят лишь внешние признаки предложения — грамматическую оформленность, «законченность», интонацию и пр.», но они «выключены из си-

туации», «не выполняют прямого назначения всякого речевого акта — не передают никакой мысли, которая всегда конкретна, всегда ситуативна, всегда нацелена на определенный предмет...» (Звегинцев 1976, 185). Другие исследователи (К.А. Долинин, В.Г. Адмони и др.) называют высказывания, не имеющие референтов в объективной действительности, нереферентными, внеситуационными или фантомными.

Действительно, когда учитель записывает на доске пример двусоставного предложения — *Солнце светит* или *Дождь идет*, — его менее всего волнует то, какая погода в данный момент за окном. Он работает с чисто языковыми конструктами. Назначение их — дать слушающему некоторые сведения об устройстве самого языка либо какую-то иную — постороннюю, побочную — информацию, не связанную непосредственно с обозначаемой ситуацией. Поэтому смысл таких единиц В.А. Звегинцев характеризовал как псевдосмысл. Эти единицы, по словам ученого, «составляют предмет изучения и описания нормативных грамматик и исследований, описывающих всякого рода синтаксические явления. Это они используются для трансформационных манипуляций — по всем правилам языка» (Звегинцев 1976, 186).

Следует только уточнить: «псевдосмысл» подобных единиц отнюдь не ограничивается сферой синтаксиса: он может быть связан с фонетикой, орфографией, словообразованием и т.д. Кроме того, мы предпочтем Звегинцевскому *псевдопредложению* термин *псевдовысказывание*: с нашей точки зрения, те единицы, о которых идет речь, как предложения вполне нормальны и полноценны. А вот как единицы речи (высказывания) они весьма специфичны, поэтому заслуживают приставки «псевдо-». В целом же это феномен, который занимает важное место не только в лингводидактике, но и в лингвосемиотике и философии языка.

Псевдовысказывания используются прежде всего в **демонстрационных целях**. Иными словами, они абсолютизируют некоторые языковые закономерности в виде прототипических примеров. Неиссякаемый источник такого материала представляют собой азбуки и буквари. В частности, для русского

языка это выражения, о которых уже шла речь в предыдущих главах, вроде *Мама мыла раму; Маша ела кашу; Луша ждала папу; У Шуры шары; У осы усы; Наша Мила мала; Около ели лиса* и т.п. Перед нами — классические речевые образцы, которые слабо связаны с реальной жизнью, с рамами (которые, кстати, обычно не моют: моют оконные стекла), шарами или лисами...

Конечно, нельзя сказать, что подобные примеры абсолютно оторваны от действительности: какие-то функциональные свойства объектов они все-таки отражают. Не подлежит сомнению, что они также отражают (и одновременно навязывают читателю) определенные мировоззренческие стереотипы — например, стереотип трудолюбия матери и т.п. Все эти искусственные примеры с демонстрационной функцией, знакомые носителю языка «с младых ногтей», смыкаются в его памяти с пословицами и поговорками, афоризмами и прибаутками, они составляют часть массовой речевой культуры общества, а потому характеризуются устойчивостью не только в пространстве, но и во времени.

Правда, со временем, при смене эпох и формаций, псевдовысказывания могут заменяться иными, новыми выражениями. Стоит напомнить, что когда в первые годы советской власти была поставлена задача массового обучения грамоте взрослых людей, то для них была создана своя «Азбука». И начиналась она с высказывания *Мы не рабы, рабы не мы*, фразы «хлесткой и невразумительной», по воспоминаниям одного современника.

Понятно, что основное назначение таких демонстрационных (учебных) фраз — в том, чтобы ребенок освоил важнейшие типы синтаксических моделей простого предложения вместе с соответствующими им (изосемическими) подклассами слов, запомнил правила чтения букв, усвоил некоторые закономерности слоговой структуры слова и т.д.

В силу своей прецедентности (повторяемости, воспроизводимости из поколения в поколение) данные фразы способны приобретать особую — **символическую** — функцию. Псевдовысказывания становятся выразителями таких концептов, как

«школа, образование», «азы, начальный этап знания», «правило, закон» и т.п. Показательны в данном отношении следующие две цитаты из русских художественных текстов:

Учительница Элькина
Раскрывает азбуку.
Повторяет медленно,
Повторяет ласково.
Слог
 выводит
 каждый,
ну, а хлопцам странно:
«Маша
 ела
 кашу.
Маша
 мыла
 раму»
(Е. Евтушенко. Братская ГЭС).

А когда, пожив и повидав, в захламленной избе носом к стенке помирает русский человек, то не попинные слова торопливые, не бабье в углу бормотание и не фразы врачебные он слышит. В этот момент опять перед ним букварь на первых страницах открывается. Рисунки яркие и буквы крупные. Люди разные и предметы ихние. **Мама, девочка Луша, рама чистая вымытая.** И, лежащей ногой другой мир нащупав, говорит русский человек ясным напоследок голосом:

— **Мама мыла раму. Луша ждала папу. Папа у Луши умер.** Прощайте (Е. Шестаков. Русские слова).

Аналогичную роль приобретают псевдовысказывания и в других славянских языках. Приведем пример из польской литературы, в котором герой пытается вернуться к «прототипическим» фразам, олицетворяющим в его сознании способность к свободному речепроизводству в мирной жизни.

Po pięciu latach wojny nie umiem mówić. Potrafię tylko krzy-
czeć: nigdy więcej! — ale nauczcie mnie mówić. Chcę się posługi-
wać ludzkim językiem, określać pojęcia dobre i złe, powiedzieć “to
jest niebo” i “to jest ziemia”, mówić “tak” i “nie”, a nawet po pro-
stu stwierdzić, że “**Ala idzie do lasu**” (K. Brandys. Obrona “Grena-
dy”). Перевод: «После пяти лет войны я не умею говорить. Могу
только кричать: никогда больше! Так научите ж меня говорить.
Я хочу пользоваться человеческим языком, определять вещи хо-
рошие и плохие, говорить «это небо», «это земля», говорить «да»
и «нет», и даже просто сказать, что «Аля идет в лес». (*Ala idzie
do lasu* — шаблонный пример из букварей польского языка. —
Б.Н.)

Следующий пример из современной болгарской литерату-
ры также включает в себя демонстрационное псевдовысказы-
вание:

ИВАН АНТОНОВ. ...Аз се занимавам с езикознание, а не с живот-
новъдство. Занимавам се с граматика, със сложното смесено изрече-
ние. С подлога, разбирате ли? «**Орачът оре.**» Кой оре — орачът. Орачът
е подлог. Показва кой върши действието в изречението (Ст. Страти-
ев. Сако от велур). Перевод: «...Я занимаюсь грамматикой, сложным
предложением с сочинением и подчинением. Подлежащим занимаюсь,
понятно вам? «*Пахарь пашет*». Кто пашет — пахарь. Пахарь — подле-
жащее. Показывает, кто производит действие в предложении». (Как и
в предыдущем случае, *Орачът оре* — шаблонный пример из болгарских
учебников. — Б. Н.)

Неудивительно, что когда участников психолингвистиче-
ских экспериментов — обычных носителей языка — просят при-
вести примеры предложений, они конструируют, как правило,
высказывания простые, повествовательные и двусоставные —
именно к таким образцам их приучили школьные учебники.
Что же касается набора конкретных «азбучных» псевдовыска-
зываний, то можно утверждать, что они не просто утвержда-
ются в нашей памяти: эти клише становятся своего рода куль-
турными знаками. Их семиотизация столь же естественна, как

семиотизация прописных истин типа *Дважды два — четыре* или *Волга впадает в Каспийское море* (которые для сегодняшнего носителя русского языка служат символами неинформативности и банальности), констатаций вроде *Своя ноша не тянет* или *Своя рубашка ближе к телу* (которые символизируют достоинство «своего» в противопоставлении «чужому») и т.п.

Псевдовысказывания необходимы человеку не только на начальном этапе его языкового образования как инструмент для усвоения простейших структурных образцов коммуникативных единиц. И в более зрелом возрасте они помогают школьнику или студенту осваивать разнообразные лингвистические закономерности и нормы. Скажем, для русского языка это могут быть правила расстановки во фразе морфологически омонимичных словоформ (*Мать любит дочь*), обособления определений (*Усталые, но довольные, охотники возвращались с охоты*) или интонационного и пунктуационного членения сложного высказывания (*Казнить — нельзя — помиловать*). Типичная ошибка в подчинении деепричастных оборотов иллюстрируется цитатой из Чехова *Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа*, а особенности пассивных конструкций — примером *Дом строится рабочими...* Как следует из приведенных примеров, формирование корпуса прецедентных «лингвистических» фраз не ограничивается периодом начальной школы — псевдовысказывания сопровождают человека на протяжении всего времени его языкового обучения. Ничего удивительного в этом нет: речевые иллюстрации тиражируются, переходят из грамматики в грамматику, из учебника в учебник, из урока в урок и из лекции в лекцию.

Новаторские идеи лингвистики XX в. способствовали пополнению корпуса псевдовысказываний на «грамматическую» тему рядом новых образцов. Это знаменитый пример Л.В. Щербы *Глокая куздра штеко будланула бокра и курдючит бокренка*, придуманная Н. Хомским фраза *Green ideas sleep furiously* (в русском переводе *Зеленые идеи яростно спят*), принадлежащий, кажется, И.И. Ревзину пример *Кентавр вытил круглый квадрат*, оппозиция *Стол накрыт скатертью / Стол накрыт официантом*, используемая для демонстрации глубинно-синтаксических

различий, и даже целый псевдотекст: сказочка Л. Петрушевской под названием «*Пуськи бятые*». Можно вспомнить также уже приводившиеся примеры на польском материале, типа *Pies psu psem* и *Kiwi kiwi kiwi...*

Очень близко к демонстрационной функции псевдовысказываний использование их в **учебно-тренировочных целях**. Это прежде всего отработка навыков произношения и правописания. В дореволюционной России практически каждый школьник знал стишок, имеющий своей целью запоминание слов с буквой Ъ «ять». Бытовало несколько вариантов данного текста; один из них в современной орфографии выглядит следующим образом:

Белый, бледный, бедный бес
Убежал, бедняга, в лес.
Лешим по лесу он бегал,
Редькой с хреном пообедал...

Во всех упомянутых здесь словах, которые пишутся сегодня с «е», когда-то следовало писать «ять». Орфографическая реформа 1918 г. отменила букву «ять», также как некоторые другие ненужные буквы, но псевдовысказывания применяются и в сегодняшней школьной практике. Нередко они также имеют вид рифмованных строчек, ср. список глаголов 2-го спряжения, оканчивающихся в инфинитиве на *-ать* и на *-еть*:

Гнать, держать, дышать, обидеть,
видеть, слышать, ненавидеть,
и зависеть, и терпеть,
а еще смотреть, вертеть.

Любопытно, что в кинофильме «Плюмбум, или Опасная игра» (автор сценария — А. Миндадзе) данный стишок приобретает концептуальное, символическое звучание: его герой-подросток выслеживает и сдает властям жуликов, бомжей и прочих людей, которых он считает социально опасными.

Искусственные фразы используются также для запоминания других исключений в русском языке — скажем, при изуче-

нии правила написания буквы *и* после буквы *ц*. Исключения из этого орфографического канона собраны в одном псевдовысказывании: *Цыган на цыточках подкрался к цытленку и сказал ему: цыц!* А для запоминания русских наречий, оканчивающихся на шипящую и пишущихся без мягкого знака, служит сакраментальное признание: *Уж замуж невтерпеж*. Следующая иллюстрация подтвердит, что данная фраза глубоко западает в память носителя языка:

Прощаясь, Валера пристально посмотрел на свою бывшую невесту, давая понять, мол, если так **уж замуж невтерпеж**, могла бы найти преемника и получше, чем этот засушенный богомол! (Ю. Поляков. Апофегей).

Псевдовысказывание может специально быть построено как нагромождение орфограмм, которые следует заучить. Таким примером, имеющим широкое хождение среди русскоязычных школьников (нередко и учителя считают это «тестом на грамотность»!), является следующий орфографический монстр: *На колоссальной дощатой террасе близ конопляника веснушчатая мачеха подъячего Агриппина Саввична поливала огород из брендспойта и исподтишка потчевала небезызвестного коллежского асессора Фаддея Аполлоновича винегретом, варениками и монпасье под аккомпанемент виолончели*. Не намного лучше упоминаемый Владимиром Набоковым в «Других берегах» образец «тяжеловесного диктанта»: *Колоколотейщики переколотили выкарабкивавшихся выхухолей* (по сути это, очевидно, скороговорка, но использовавшаяся и в учительской практике).

Разумеется, в каждом языке — свой свод грамматических правил и свои исключения из них. Точно так же для каждого языка существуют и свои псевдовысказывания, облегчающие запоминание этих правил и исключений. Скажем, в школьной практике преподавания польского языка применяется искусственная фраза, облегчающая усвоение списка частиц: *Liczy może niby nie (li, czy, no, że, ni, by, nie)*. Буквальный ее перевод: «он (или она) считает ножи, разве не так?». Для иллюстрации

различного написания (и происхождения) звука [ż] служат фразы вроде *Jeżeli morze nie pomoże, to może pomoże pomorze?* Буквальный перевод: ‘если море не поможет, то, может, поможет побережье?’.

Очень распространенной сферой тренировочного использования псевдовысказываний является фонетика, а именно отработка произношения того или иного «трудного» звука. Это, конечно, сфера деятельности специалистов по орфоэпии, логопедов и дефектологов — главным образом, при работе с детьми. Но данные проблемы возникают и при обучении взрослых неродному языку; кроме того, они представляют определенный интерес для теоретической фонологии. Так, для отработки артикуляционно трудного звука [p] русским детям предлагают следующий стишок:

Ехал грека через реку,
Видит грека — в реке рак.
Сунул грека руку в реку,
Рак за руку греку — цап!

В повести В. Токаревой «Ехал грека» маленький мальчик недоумевает по поводу приведенной выше (заглавной) фразы: почему говорится «ехал грека», а не «грек», или почему «ехал», а не «ехала»? Ответа нет и, собственно говоря, быть не может, потому что данное псевдовысказывание основано на фонетических, а не морфологических закономерностях. «Грека» тут — нормальное слово, и «грека ехал» — нормальная конструкция...

У каждого языка — свои специфические и «трудные» для произношения звуки. Так, для изучающих польский язык серьезную трудность представляет произношение шипящих. Поэтому здесь в ходу упражнения типа *Rak trzyma szczypcami strzep szczawi* (буквально: ‘рак держит в клешнях пучок щавеля’), а также *Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz, Pietrze, wieprza pieprzem; Chrząszcz brzmi w trzcinie* и т.п. При изучении сербского языка необходимо освоить произношение слогаобразующего [p] — и этому служат фразы типа *На врху брда врба мрда* (букв. ‘на вершине холма верба колыхнется’). И, разумеет-

ся, никто здесь не обращает внимания на какие-то нелогичности или неясности (например, что это за щавель в клешнях у рака и т.п.?). Но этого и не требуется: перед нами псевдовысказывания на «фонетическую» тему, и отдельные слова там особой роли не играют, они могут вообще не распознаваться слушающим (учащимся).

Очередная функция псевдовысказываний — **мнемотехническая**. С их помощью носитель языка может запомнить некоторое правило (необязательно языкового характера). Псевдосмысл (т.е. «сверхзадача») таких выражений может быть чрезвычайно многообразным.

Так, в среде младшекласников бытовал стишок, позволяющий запомнить расположение русских падежей в парадигме склонения (именительный, родительный, дательный...):

Иван Родил Девчонку,
Велел Тащить Пеленку.

Любопытно, что когда в современной лингвометодической литературе появляются попытки по-новому осмыслить систему русских падежей, то наряду с иным порядком их размещения в парадигме предлагается и новая мнемотехническая фраза — по-видимому, это считается важным условием успешного дидактического процесса, например: *Иван Вскормил Ребенка, Пока Доил Теленка* (Распопова 2001, 42).

Своеобразную подсказку для учащихся младших классов представлял собой также искусственный диалог: — *Стёпка, хочешь щец?* — *Фу!*, позволявший запомнить состав глухих согласных в русском языке (без различения твердых и мягких).

При изучении точных наук псевдовысказывания помогают запомнить, в частности, состав и последовательность цветов в солнечном спектре. Начальные буквы этих названий (*красный, оранжевый, желтый, зеленый...*) составляют основу для фраз типа *Каждый охотник желает знать, где сидит фазан* или, в другом варианте: *Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь...* Эти знания сопровождают человека всю его жизнь. В стихах небелевского лауреата Иосифа Бродского читаем:

Одичавшее сердце все еще бьется за два.
Каждый охотник знает, где сидят фазаны —
в лужице под лежачим.
За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра,
как сказуемое за подлежащим.

(«Часть речи»)

В начале XX в. русские школяры без труда могли воспроизвести число «л» до десятого знака после запятой: в этом им помогала «магическая» фраза *Кто и шутя и скоро пожелает ти узнать, число уж знает* (количество букв в словах давало количество единиц в соответствующем разряде: 3, 1415926536; в конце слов «пожелает», «уж» и «знает» писался тогда твердый знак). Чуть позже российские студенты-физики заучивали обозначения спектральных классов звезд — О, В, А, F, G, К, М — с помощью нехитрой фразы *Один бритый англичанин финики жевал, как морковь*. Глуповато, но запоминается навсегда! А студентам-геологам тоже можно посочувствовать: им нужно было запомнить последовательность геологических эпох: Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Каменноуголь, Пермь, Триас, Юра, Мел, Палеоген, Неоген. В этом им помогала искусственная фраза: *Каждый Образованный Студент Должен Курить Папиросы. Ты, Юра, Мал, Подожди Немного*.

Псевдовысказывания могут использоваться и в других специальных сферах. Так, у студентов консерваторий, учащихся музучилищ в ходу так называемые подтекстовки, облегчающие ритмическую организацию и интонирование (ровность исполнения) группы нот. К примеру, для отработки исполнения произведения, состоящего из 11 ровных нот подряд, предлагается фраза *Римский-Корсаков совсем с ума сошел...* В Петербурге, в районе Витебского вокзала, есть ряд улиц, названных когда-то в честь рот Семеновского полка: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Для того чтобы запомнить их последовательность, кто-то сочинил фразу — не фразу, а, можно сказать, риторический крик души: *Разве можно верить подлomu сердцу балерины?*

В других славянских культурах также используются аналогичные мнемонические приемы. Первоклассники в сербской школе запоминают последовательность букв в азбуке с помощью искусственного текста *Аврам — Богдан — Воду — Газе — Дубоко* и т.д. (буквально: 'Аврам — Богдан — по воде — ходят — глубоко'...), что заставляет вспомнить старую проблему символического значения букв кириллической азбуки. В польской школе для запоминания числа π рекомендуется фраза, начало которой выглядит так: *Kuć i orać w dzień zawzięcie...*, а украинские дети заучивают расположение планет в солнечной системе с помощью псевдовысказывания *Маленький Василько з маленьким Юрком співали українських народних пісень* (за начальными буквами здесь скрывается последовательность планет в их удаленности от Солнца: Меркурий — Венера — Земля — Марс — Юпитер и т.д.).

Если трактовать псевдовысказывания широко, то в качестве таковых можно рассматривать также речевые произведения, имеющие своей целью проверку канала связи, языковой компетенции и личности говорящих. В таком случае опять-таки неважно, о чем идет речь в сообщении, важен сам факт его передачи и приема. Назовем данную функцию искусственных фраз **идентификационной**.

Самый яркий пример данной ситуации — произнесение условного пароля и отзыва (типа: *У вас продается славянский шкаф? — Шкаф продан, есть никелированная кровать с тумбочкой*). Подобные псевдиалоги хорошо знакомы любителям шпионских романов и кинофильмов. Но восприятие их подготовлено еще в раннем детстве, когда носитель языка знакомится, например, со сказкой о Волке и семерых козлятах. Коза, возвращаясь домой, произносит всегда одну и ту же условную фразу, а кровожадный Волк пытается этот пароль (идентификатор) присвоить. Сначала, правда, его выдает несоблюдение формальных условий («толстый голос»), но потом он, как известно, добивается своей цели...

Иногда возникает необходимость проверить работу канала связи с технической стороны, и при этом детально. В частности, бывает необходимо убедиться в «комплектности» переда-

ваемых букв (исправности клавиатуры и т.п.). Для таких случаев придуманы искусственные фразы, воспроизводящие весь алфавит. Вот один из таких примеров, в котором присутствуют все русские буквы: *Любя, съешь щитцы, – вздохнет мэр, – кайф жгуч.*

Иногда говорящему важно просто продемонстрировать знание конкретного языка — иными словами, он должен сказать что-нибудь, «лишь бы сказать». В том числе с помощью псевдовысказывания он может создать иллюзию владения иностранным языком. Воспользуемся известным примером из работы Р. Сёрля: американский солдат во время Второй мировой войны попадает в плен к итальянцам и хочет выдать себя за немецкого офицера. Но немецкого языка он не знает, а помнит только начальную строку из стихотворения Гете, которое учил в школе: *Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen...* (в переводе Б. Пастернака: *Ты знаешь край лимонных роц в цвету...*). Тем не менее есть надежда, что в указанных условиях данная фраза может быть семантизирована как 'я — немец'. И, следовательно, американец может таким образом достичь своей цели (Серль, 1986, 159–160).

В принципе, аналогичными соображениями руководствуется герой романа «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова Остап Бендер, когда, пытаясь перевесить чашу весов в дискуссии с ксендзами, декламирует латинские исключения, зубренные им в третьем классе гимназии: *пуэр, соцер, веспер, генер, либер, мизер, аспер, тенер*. Мудреные слова должны создать иллюзию владения латынью и «повысить ранг» участника в диалоге.

А вспомним хорошо известный феномен «сюсюканья» матери по отношению к маленькому ребенку! Важны ли здесь слова? Думается, что нет. Важнее интонация, с которой они произносятся (хотя любопытно: согласные тут должны быть в основном мягкие, а гласные — переднего ряда)... Но вот пример «повзрослее». Герой песни Юлия Кима «Однажды в чудный вечер» пытается познакомиться с девушкой. И далее процитируем, с помощью каких речевых средств осуществляется заигрывание с «объектом»:

Утики путики сяся
Ерики чморики фу.
Вар вар вар вара Калуга
И не сказал ничего.
Значит, еще подождем.

Утики путики сяся — это не просто «асемантический текст», но «любовное воркование», своего рода *глокая куздра* на языке симпатии (пусть и недостаточно морфологизованная). Бесплезно пытаться расшифровать ее лексически: это лишь имитация русской речи в определенных условиях.

Еще один пример: уже упомянутый Остап Бендер шлет миллионеру Корейко телеграммы типа: *Графиня изменившимся лицом бежит пруду; Грузите апельсины бочками — братья Карамазовы* и т.п. В принципе это совершенно правильные русские фразы, но они абсолютно бессмысленны в данной ситуации. «Нереферентность» текста, помноженная на анонимность отправителя, должна вдвойне запугать и сбить с толку адресата — в этом и заключается «сверхзадача» телеграмм.

Мы видим, что призвание псевдовысказываний — не в том, чтобы обеспечивать нормальный коммуникативный акт. С их помощью человек не познает мир, не получает новой информации — он, скорее, препарирует, обрабатывает уже готовые знания. В чем же тогда заключается когнитивная ценность данного вида высказываний?

Ответ таков: как бывают служебные слова, так могут быть и «служебные» фразы. За ними не стоят конкретные референтные ситуации, но они представляют обобщенные **типовые ситуации** и реализуют особые, специальные интенции говорящего: облегчить запоминание каких-то явлений, дать тренировку речевым органам, продемонстрировать знание языка и т.п. Псевдовысказывания можно сравнить в этом смысле с холостыми патронами. В отличие от обычных патронов, холостые не предназначены для того, чтобы убивать, но, тем не менее, широко используются в других, особых целях, прежде всего учебно-тренировочных (кроме того, холостым выстрелом можно подать сигнал, отпугнуть и т.п.). Так и псевдовысказывания: они выполняют свою не-

заметную функцию, без которой познание мира обходилось бы человеку дороже.

Чрезвычайно богатой сферой использования нереперентных высказываний является **языковая игра** во всех ее проявлениях. Именно игровые цели (так называемая **людическая функция**) обуславливают создание скороговорок и считалок, поговорок и прибауток, дразнилок и загадок. По сути же все эти виды фольклорных миниатюр представляют собой именно псевдовысказывания. Они не столько обобщают жизненный опыт языкового коллектива, сколько активизируют или абсолютизируют какие-то языковые закономерности (в первую очередь звуковой или буквенный состав слов, особенности ритмики и рифмы). И это понятно: они нацелены на создание комического или эстетического эффекта, поддержание определенной атмосферы общения и т.п.

Вот как комментирует российский лингвист свой собственный опыт усвоения в детском возрасте простейших стишков: «О этот примитивный дворовый детский и полудетский фольклор! Почему он так цепко влезал в детские души, запоминался раньше и прочнее чарующих стихов и сладостных песен? Здесь, наверное, сказывалась неискренность детской души, легко поддававшей под обаяние простейших слов, четкого ритма и чеканных рифм» (Федосюк 2003, 14).

Приведем примеры соответствующих минитекстов на русском языке. Считалки и дразнилки: *Аты-баты, или солдаты, аты-баты, на базар. Аты-баты, что купили? Аты-баты, самовар; Эники-беники, ели вареники, эники-беники, бенц! Сорока, ворона, кашу варила, детей созывала...; Немец, перец, колбаса, тухлая капуста, съела Танька* (на этом месте возможно любое имя) *червяка и сказала «вкусно»; Филипп к доске прилип* и т.п. Скороговорки: *Шла Саша по шоссе и сосала сушку; На дворе трава, на траве — дрова; Архип осип, Осип охрип* и т.п. Шутливые загадки: *Что делал слон, когда пришел Наполеон?* (отгадка: *Ел траву*); *А и Б сидели на трубе; А упало, Б пропало, что осталось на трубе?* (отгадка: *и*) и т.п. Прибаутки и присловья: *Кто? Конь в пальто; Москва — Воронеж, не догонишь; Моряк — с печки бряк; Два притона — три прихлопа; Явился — не запыллся; Потому,*

что кончается на «у»; Ёкалэмэнэ — опэрэсэтэ и т.п. Собственно, чем меньше в этих единицах смысла как такового, тем больше у нас оснований считать их псевдовысказываниями.

Современные собрания образцов городского фольклора демонстрируют постоянное обновление фонда псевдовысказываний (см.: Белянин, Бутенко 1994; Кузьмич 2000 и др.). Источниками этих речевых клише могут быть новейшие кино- и телефильмы, эстрадные репризы, рекламные тексты, популярные анекдоты и т.п. Очень часто предыстория таких выражений забывается, и псевдовысказывание начинает самостоятельную жизнь.

Аналогичные образцы детского (и не только детского) фольклора существуют в любом языке. Таковы, например, в белорусском тексты вроде *Люлі-люлі-люлі, пайшоў кот па дулі, памарозіў лапкі, пайшоў да Агаткі...*; *Перац горкі, дай махоркі, перац гладкі, дай аладкі; Тапор, тапор, сядзі, як вор. Піла, піла, ляці, як страля; Кацілася мандаліна, па-нямецку гавырыла: — Шэндэр, мэндэр, пшык, Залатой мужык; А ты, шындаль-біндаль, што пашындаль, гарицу-барыцу з калагрыницу — кох!* и т.п. Давать перевод тут бессмысленно: все эти выражения имеют игровой характер, и смысла в них не больше, чем в русском *Эники-беники, ели вареники...*

Приведем еще примеры аналогичных устойчивых выражений в польском языке: *Jurek-ogórek, kiełbasa i sznurek...*; *Angliczki bangliczki czerwone stoliczki, jedne się nakryły, drugie oczka zmrużyły; Siedzi baba na cmentarzu, trzyma nogi w kałamarzu...*; *Na bal konie nie chodzą; Póltora i póltora ile będzie? — Cały tor* и т.п. Они также пользуются среди детей чрезвычайной популярностью, и, что характерно, на их основе позже вырастают многообразные переделки. Подобные стишки, дразнилки, считалки и прочие «речевые нелепицы» играют важную роль в онтогенезе механизмов производства и восприятия речи. По словам Б. Бонецкой, они используются для своеобразного языкового тренинга: ребенок таким образом испытывает «на прочность» усвоенные им структурные образцы высказываний, а также возможности звукового комбинирования (Boniecka 1995, 256). Взрослый же носитель языка находит в искусственных текстах свою прелесть, а потому продолжает «игровые» традиции в псевдовысказываниях вроде

Wyalienowany neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjzmozwanego paleoantropologa или *Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki...* Сознательное нагромождение словообразовательных морфем усугубляется тут артикуляционными трудностями.

Если классический афоризм, пословица или крылатое слово содержат в себе обобщенный смысл, а в силу этого нередко выполняют и директивную, нравоучительную функцию, то у «речевых нелепиц» — иная природа, иные цели: развлечь собеседника, наладить с ним контакт, доставить удовольствие от созвучия и т.п. «Замкнутость на себе», на мире языка объясняет в подобных примерах любую алогичность или странность: спрашивать здесь, почему это в одной из приведенных выше русских прибауток с печки падает («бряк») именно моряк, а не пехотинец или летчик, бессмысленно, так же как задаваться вопросом, почему именно Филипп прилип к доске и что это за доска такая...

Особый интерес представляют псевдовысказывания, появляющиеся в результате таких видов языковой игры, как анаграммы и палиндромы. Анаграммы (перестановки букв) могут охватывать и целые сочетания слов, тогда мы получаем псевдовысказывания вроде *Вижу зверей — живу резвей* или *Инок вязнет, кони звенят*. Палиндромы же — предложения, читаемые одинаково как слева направо, так и справа налево — давно увлекали поэтов и филологов. Не случайно один из самых известных палиндромов на русском языке — *Я иду с мечем, судия* — принадлежит Г. Державину, а другой — *А роза упала на лапу Азора* — А. Фету. Современные остроумцы придумали новые блестящие образцы этой игры: *Аргентина манит негра*; *Огонь — лоб больного*; *Леша на полке клопа нашел*; *Фрау и леди сидели у арф*; *У тени или мафии фамилии нету*; *Взятка — акт язв* и т.п. (см.: Гик 2002, 24—30; Горобец, Федин 2008 и др.). Понятно, что перед нами — забава, основанная на испытании внутренних возможностей языка, в частности, комбинаторики его букв. И получаемые в результате данной игры высказывания практически никак не связаны с коммуникативными потребностями говорящего и слушающего.

Среди многообразных языковых игр (забав) обращают на себя внимание также попытки создания текста, в котором все

слова начинались бы на одну и ту же букву (в частном случае это ограничение может действовать в пределах строки или абзаца). Разумеется, от подобных текстов трудно требовать естественности и глубины — они создаются с заведомо игровой целью. Вот один из таких опусов, созданный шестиклассником Дмитрием Колдуном. Называется он «Пес Полкан — приятель Пети».

Полночь... Петя постучал пальцами по подоконнику. Почему петух поет печально? Почему печально поскуливает пес? Пойду посмотрю! Петя прошелся по переулку. Прогудел ползущий по путям паровоз. Промелькнул пестренький пикапчик. «Подозрительно! — подумал Петя. — Произошло преступление?»...

Впрочем, надо сказать, что подобными лингвистическими экспериментами увлекались и серьезные писатели и поэты — в русской литературе, например, Велимир Хлебников и Семен Кирсанов. Но практически на всех на них так или иначе лежит печать «сделанности», искусственности, свойственная псевдо-высказываниям.

В свете сказанного ранее неудивительно, что псевдовысказывания приобретают и эстетическую функцию. В абсурдистской и постмодернистской литературе они становятся важным изобразительным средством. Можно утверждать, что чем свободнее автор в своем художественном творчестве, тем больше вероятность того, что речевые клише, с детства заложенные в памяти, выйдут на поверхность. Процитируем в качестве примера два отрывка из романа «Школа для дураков» Саши Соколова:

...ОБУВЬ. И слово «обувь» как «любовь» я прочитал на магазине. ЦВЕТЫ. КНИГИ. Книга — лучший подарок, всем лучшим во мне я обязан книгам, книга — за книгой, любите книгу, она облагораживает и воспитывает вкус, смотришь в книгу, а видишь фигу, книга — друг человека, она украшает интерьер, экстерьер, фокстерьер, загадка: сто одежек и все без застежек — что такое? отгадка—книга...

...по берегу реки шел Бураго, инженер, носки его трепетал ветер. Я говорю только одно, генерал, я говорю только одно, генерал: что,

Маша, грибы собирала? Я часто гибель возвращал одною пушкой востовою. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек. А вы — говорите, эх, вы-и-и! А белые есть? Есть и белые. Цоп-цоп, цайда-брайда, рита-умалайда-брайда, чики-умачики-брики, рита-усалайда. Ясни, ясни, на небе звезды, мерзни, мерзни, волчий хвост...

Рассуждая об интертекстуальности любого текста, о «цитатном гуле», неизбежно сопровождающем речевую деятельность, современные исследователи фиксируют и случаи «немотивированного» цитирования. Это значит, что говорящий нередко употребляет в своей речи то или иное выражение исключительно под диктатом языка — хотя никакой смысловой потребности в данном выражении нет. Просто носитель языка не в силах сопротивляться законам фонетических ассоциаций или (устойчивой) лексической сочетаемости, и получающиеся в результате высказывания или их фрагменты опять-таки достойны приставки «псевдо-». Скажем, у Дмитрия Пригова есть стихотворный цикл «Образ Рейгана в советской литературе», и всплывшая там фамилия Миттерана (французского политика-социалиста) немедленно порождает аллюзию к знаменитой Брюсовской строке *Мы ветераны, мучат нас раны*:

Мы — Миттераны
Мучат нас раны
Соцьяльные мучат...

Еще пример, уже из прозаического текста: *Света по-прежнему не было, в пробках сгорели все жучки и червячки. И медведица!* (Е. Лапутин. Обманы). Слово *жучки* 'самодельные предохранители' автоматически «вытягивает» в памяти строку из стихотворения «Айболит» К. Чуковского, не имеющую никакого отношения к отражаемой ситуации.

Если же псевдовысказывания из отдельных вкраплений в художественный текст превращаются в принцип его построения (случается и такое!), то произведение становится похоже на собрание фраз из разговорника, рассчитанного на иностран-

ца, — и, по всей видимости, автор сознательно добивается такого эффекта. Конечно, сами разговорники представляют собой особый жанр учебно-методической литературы, нацеленный на облегчение реальной коммуникации, и в этом смысле представленные в них фразы не вполне «псевдо-». Да и степень стандартности, прецедентности речевого материала здесь не столь высокая, как в азбуках и букварях.

И вместе с тем: имеет ли разговорник познавательную ценность? Вряд ли. Его задачи другие: он служит для отработки коммуникативных тактик. Но в целом искусственность содержащихся в разговорниках единиц не подлежит сомнению; именно поэтому данный лингвометодический жанр так легко поддается пародированию, составляя основу для собственно художественных произведений. Можно сказать, что «принцип разговорника» обнажает, моделирует некоторые — собственно языковые — основы диалога. Когда людям не о чем говорить, за них говорит язык. И в драматургии абсурда разговор «ни о чем» становится текстообразующим приемом. Вот, в частности, как начинается пьеса Э. Ионеско «Лысая певичка» (перевод Е. Суриц):

МИССИС СМИТ. Вот и девять часов. Мы ели суп, рыбу, картошку с салом и английский салат. Дети пили английскую воду. Мы сегодня хорошо поужинали. А все потому, что мы живем в окрестностях Лондона и наша фамилия Смит. <...>

Картошка с салом — очень вкусная вещь, масло в салате не прогоркло. Масло в бакалее на углу гораздо, гораздо лучше, чем масло в бакалее напротив, и лучше даже, чем в бакалее дальше по берегу. Но я вовсе не хочу сказать, что в тех бакалеях плохое масло <...>

Рыба была свежая. Я ела с наслаждением. Два раза брала добавку. Нет, три раза. Потом пришлось пойти в туалет. Ты тоже три раза брал добавку. Но ты в третий раз взял гораздо меньше, чем раньше, а я, наоборот, гораздо больше. Я сегодня ела лучше, чем ты. С чего бы это? Обычно ты гораздо больше ешь. <...>

А вот фрагмент рассказа Даниила Хармса «Всестороннее исследование»:

Ермолаев. А что это за пилюля, которую вы собираетесь дать Блинову?

Доктор. Как пилюля? Я не собираюсь давать ему пилюлю.

Ермолаев. Но вы же сами только что сказали, что собираетесь дать ему пилюлю.

Доктор. Нет, нет, вы ошибаетесь. Про пилюлю я не говорил.

Ермолаев. Ну уж извините, я-то слышал, как вы сказали про пилюлю.

Доктор. Нет.

Ермолаев. Что нет?

Доктор. Не говорил!

Ермолаев. Кто не говорил?

Доктор. Вы не говорили.

Ермолаев. Чего я не говорил? и т.д.

И еще один, близкий по своей сути, пример — из современной украинской пьесы «Рукавичка» В. Дибровы, не требующий специального перевода.

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ПЕРШОЇ ПАРИ. Ви не виходите?

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ПЕРШОЇ ПАРИ. Я? Ні! А Ви?

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ПЕРШОЇ ПАРИ. Я стою в черзі за зворотним квитком.

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ПЕРШОЇ ПАРИ. Ми тут всі такі!

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ДРУГОЇ ПАРИ. Не притуляйтеся до дверей!

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ДРУГОЇ ПАРИ. Не заговорюйте до водія під час руху!

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ДРУГОЇ ПАРИ. Не вистромлюйтеся з вікна!

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ДРУГОЇ ПАРИ. Не стій під стрілою!

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ТРЕТЬОЇ ПАРИ. Як я люблю різні подорожі!

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ТРЕТЬОЇ ПАРИ. Літаком, автобусом чи літаком?

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ТРЕТЬОЇ ПАРИ. На тихому катері!

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ТРЕТЬОЇ ПАРИ. А от я — літаком!

ПЕРШИЙ ПАСАЖИР ІЗ ЧЕТВЕРТОЇ ПАРИ. Ви не скажете, де тут місця для дітей похилого віку?

ДРУГИЙ ПАСАЖИР ІЗ ЧЕТВЕРТОЇ ПАРИ. Вам треба було зійти на попередній зупинці.

В.А. Звегинцев писав про подібні тексти, що тут «функції мови фактично покладені на мову. Діалог у творі даного напрямку виявляється абсурдним тому, що він будується над прагматичною порожнечою, а так як мова неможлива без прагматики, то ця остання штучно створюється засобами мови» (Звегинцев 1973, 238–239). По суті, це робота мови на «холостому ходу», і можливість такої роботи закладена в самому механізмі засобу спілкування. Але «внесок» готових зразків, формул, кліше в реальні процеси виробництва і сприйняття мови важко переоцінити — настільки він багатобачний (див.: Fónagy 2001, 241–243).

І тепер ми маємо запитати: чи заслуговують всі ці приклади уваги лінгвіста? Чи обмежуються вони межами штучного дидактичного матеріалу чи лінгвістичного дозвілля носія мови? Чи йде мова, іншими словами, про деякі «кунштюки» або «відходи» мовної діяльності?

На наш погляд, ні. По-перше, говорячи про псевдовисказування, ми в величезній кількості випадків маємо справу з стійкими виразами, що входять до мовної і, ширше, культурної скарбниці носія мови. Людина не може вважати, що він знає російську мову, якщо йому незнайомі вирази типу *Аты-баты, шли солдаты...* або *Ехал грека через реку*. Як правило, вони закладаються в мовну пам'ять у ранньому дитинстві і залишаються там назавжди. Крім того «наша пам'ять не просто зберігає велику кількість окремих виражень: вона пронизується нескінченними асоціаціями і аналогіями між цими виразами» (Гаспаров 1996, 97). Отримується, що при всій закритості псевдовисказувань «на собі», в внутримовних закономірностях, вони відображають, більше того — формують, в значущій мірі визначають, лінгвокультурний фон носіїв мови.

Во-вторых, то, что псевдовысказывания не связаны с конкретной ситуацией и не вызываются к жизни непосредственными коммуникативными потребностями человека, — это ведь не только их недостаток, но в каком-то смысле и достоинство. Об этом мы можем судить, сравнивая язык человека с сигнальными системами животных. Животные передают друг другу информацию о том, что происходит только в данный момент и только у них «перед глазами». Человеческой же коммуникации присуще свойство разобщенности: языковое сообщение может относиться «и к вещам, удаленным во времени или пространстве от времени и места сообщения» (Ю.С. Степанов).

Но тогда получается, что псевдовысказывания — характерный продукт человеческой деятельности. Человек творит в них свой, особый, виртуальный мир, не зависящий непосредственно от окружающей его действительности. Выход за пределы конкретной ситуации, отрыв от «здесь» и «сейчас» оказывается важнейшей отличительной чертой коммуникативной и гносеологической деятельности человека. В подтверждение приведем слова В.Г. Адмони, специально исследовавшего данный вопрос: «Для развития человечества значение внеситуационного предложения невозможно переоценить. Только в его рамках оказались возможными создание подлинно обобщенных высказываний, развитие теоретической мысли человека, возникновение науки во всех ее видах» (Адмони 1994, 48).

К этому следует добавить: в феномене псевдовысказываний можно видеть экспериментальную базу для развития не только научного познания, но и литературного творчества. Особенно же наглядны в этом отношении ситуации, когда писатель, испытывая возможности языка, оказывается не в силах устоять перед языковой «подсказкой». В качестве таковой может выступать структурная схема предложения, правила лексической сочетаемости, словообразовательная модель или фонетические ассоциации.

Если коммуникативная функция языка так или иначе окрашена прагматикой, стремлением человека к практической пользе, выгоде для себя, то литературное творчество (на этом фоне) бескорыстно и «потусторонне». Оно лишь моделирует реальную

жизнь, но, как правило, не ставит своей непосредственной целью изменить ее. В свете сказанного любой художественный текст можно рассматривать как совокупность псевдовысказываний в широком смысле, организованную по законам художественного сознания и воплощающую в себе один (очередной) из «возможных миров». Что же касается таких литературных направлений, как упомянутая выше драматургия абсурда, стихотворная «заумь», постмодернистская проза и т.п., то к ним сформулированный тезис применим в максимальной степени.

Таким образом, речевые факты, которые на первый взгляд могут показаться своеобразными «отбросами», побочным продуктом деятельности языкового механизма, на деле являются «жемчужными зернами», позволяющими глубже понять саму суть человеческого языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когнитивная лингвистика призвана не только углубить наши знания о языке, но и приоткрыть завесу над тайнами человеческой психики. Как человек воспринимает и интерпретирует происходящее вокруг него, каким образом реагирует? Почему выбирает для этого те или иные языковые средства? Как устроена общая классификация явлений в сознании, каким образом она обнаруживает себя? Словарь, грамматические категории, синтаксические конструкции — это тот инвентарь, с помощью которого человек опознает ситуации действительности и, включая их в светлое поле сознания, категоризирует, относит их к тому или иному классу. Роль, которую играют синтаксические единицы и отношения в познавательных процессах, трудно переоценить. Рассмотренный в десяти главах фактический материал демонстрирует нам языковую сторону функционирования мыслительных механизмов. В частности, интереснейшая проблема — соотношение синтаксических структур с ментальными образованиями — гештальтами и фреймами. Тут примеры из художественных текстов могут заинтересовать психологов.

Вместе с тем когнитивный подход приносит пользу и непосредственно лингвистике. Он позволяет по-новому взглянуть на те или иные языковые явления. Мы могли, в частности, убедиться в том, что бесконечно многообразные синтаксические структуры, встречающиеся в речи, сводимы к определенным образцам, концентрирующим в себе пропозициональные смыслы. Представление типовой ситуации через предикат и его окружение — набор актантов — несомненно, продуктивно для понимания строения высказывания. Преобразования, которые испытывает структура фразы в сознании носителя языка, оказывается, тоже доступны моделированию. Сочинительная связь, обычно трактуемая в грамматике как «бедная родственница» подчини-

тельной связи, играет в познавательных процессах важнейшую роль. Прилагательные и наречия не ограничиваются функцией типичных «дескрипторов», а активно и разнообразно участвуют в формировании комплекса передаваемой информации. Особый вид высказываний — псевдовысказывания — занимает в процессах речепроизводства и речевосприятия вспомогательное, но важное место.

Все эти темы, конечно, не исчерпывают когнитивных аспектов синтаксиса. Соотношение языковых средств с невербальными средствами, место конкретного высказывания в общем контексте, способы грамматической «каталогизации» ситуаций, переменный потенциал синтаксических моделей в разных жанрово-стилистических условиях и «модусная» характеристика этих моделей и т.д. — все эти проблемы еще ждут своих исследователей.

Литература

Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.

Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М.: Высшая школа, 1990.

Алефиренко Н.Ф., Корина Н.Б. Проблемы когнитивной лингвистики. Нитра: Университет им. Константина Философа, 2011.

Ангелова И. Синтаксис на българската разговорна реч (в съпоставка с руски, чешки, полски език). София: Университетско издателство, 1994.

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). М.: Просвещение, 1966.

Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М.: Наука, 1967.

Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986. С. 5—33.

Апресян Ю.Д. [и др.]. Теоретические проблемы русского синтаксиса. Взаимодействие грамматики и словаря. М.: Языки славянских культур, 2010.

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989.

Белянин В.П., Бутенко И.А. Живая речь. Словарь разговорных выражений. М.: ПАИМС, 1994.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

Береговская Э.М. Очерки по экспрессивному синтаксису. М.: УРСС, 2004.

Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977.

Брож Л. Адвербиальная перифрастика. На русском материале в сопоставлении с чешским. Praha: Universita Karlova, 1971.

Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс, 1993.

Важнік С. Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў. Семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката. Мінск: Права і эканоміка, 2008.

Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа. М.: УРСС, 2004.

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М.: Высшая школа, 1973.

Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипоговорки русского народа. СПб.: Нева, 2005.

Вежбицка А. Дело о поверхностном падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М.: Прогресс, 1985. С. 303–341.

Вежбицкая А. Дескрипция или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М.: Прогресс, 1982. С. 237–262.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: ЯРК, 1999.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980.

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.; Л.: Учпедгиз, 1947.

Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. С. 162–189.

Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.

Всеволодова М.В. Грамматика как средство отображения национальной языковой картины мира // *Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków*. Opole, 2007. С. 357–364.

Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 2. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1982. С. 5–361.

Жинкин Н.И. Язык — речь — творчество (Избранные труды). М.: Лабиринт, 1998.

Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: НЛО, 1996.

Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2008.

Георгиев С. Морфология на съвременния български език (неизменяеми думи). София, 1983.

Гик Е.Я. Интеллектуальные игры. М.: Астрель-АСТ, 2002.

Гинзбург Е.Л. Конструкции полисемии в русском языке. Таксономия и метонимия. М.: Наука, 1985.

Горобец Б.С., Федин С.Н. Новая антология палиндрома. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

Грамматика современного русского литературного языка / отв. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Наука, 1970.

Грепель М.К. сущности типов предложений в славянских языках // Вопросы языкознания. 1967. № 5. С. 60—68.

Грудева Е.В. Избыточность и эллипсис в русском письменном тексте. Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2007.

Димитрова С. Исключения в русском языке. Columbus, Ohio, 1994.

Енчева Н. О семантико-синтаксическом стяжении именных словосочетаний способом устранения зависимого компонента // Болгарская русистика. 1989. № 1. С. 53—61.

Есперсен О. Философия грамматики. М.: Изд-во иностр. лит., 1958.

Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982.

Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.

Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М. Изд-во Моск. ун-та, 1976.

Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М.: Наука, 1973.

Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты синтаксиса. М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова: Наука, 1982.

Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М.: Наука, 1988.

Золотова Г.А. К оппозиции изосемичность/неизосемичность в русском синтаксисе // *Linguistique et slavistique. Melanges offerts a Paul Garde. Tome I.* Paris, 1992. С. 533–539.

Золотова Г.А. О связанных моделях русского предложения // *Облик слова. Сб. статей / сост. и отв. ред. Л.П. Крысин.* М., 1997. С. 148–154.

Ицкович В.А. Очерки синтаксической нормы. М.: Наука, 1982.

Карасик В.И. Определение и типология концептов // *Слово — сознание — культура: сб. науч. трудов / сост. Л.Г. Золотых.* М.: Флинта: Наука, 2006. С. 57–66.

Касевич В.Б. О когнитивной лингвистике // *Общее языкознание и теория грамматики. Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения С.Д. Кацнельсона / отв. ред. А.В. Бондарко.* СПб.: Наука, 1998. С. 14–21.

Ким И.Е. Личная сфера человека: структура и языковое воплощение. Красноярск: СФУ, 2009.

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М.: УРСС, 2000.

Копотев М. Принципы синтаксической идиоматизации. Хельсинки, 2008.

Краткая русская грамматика / под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина. М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1989.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. М.: Наука, 1986.

Кузнецов П.С. О языке и речи // *Вестник Московского университета. Серия VII: Филология, журналистика.* 1961. № 4. С. 59–65.

Кузьмич В. Жгучий глагол. Словарь народной фразеологии. М.: Зеленый век, 2000.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: УРСС, 2004.

Лангаккер Р.В. Модель, основанная на языковом употреблении // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 1977. № 4. С. 160—174.

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл; СПб.: Лань, 2003.

Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990.

Міхневіч А. Выбраныя працы. Мінск: Права і эканоміка, 2006.

Ницолова Р. За интелектуализацията на съвременния български книжовен език // Проблеми на езиковата култура / съст. П. Пашов, В. Станков. София: Наука и изкуство, 1980. С. 79—87.

Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1994.

Норман Б.Ю. Болгарский язык в лингвострановедческом аспекте. Курс лекций. Минск: БГУ, 2005.

Норман Б. Экспрессивно-оценочная лексика в непредикатной позиции // Јужнословенски филолог, LXIII. Београд, 2007. С. 67—81.

Норман Б.Ю. Хиазм: от механики к идеологии // Дискурс, текст, когниция: коллективная монография / отв. ред. М.Ю. Олешков. Нижний Тагил: НТГСПА, 2010. С. 184—199.

Норман Б.Ю. К соотношению семантической и сигматической информации в плане содержания слова (на материале славянских языков) // Слово и язык: сб. ст. к 80-летию акад. Ю.Д. Апресяна. М.: Языки славянских культур, 2011. С. 307—318.

Панов М.В. Русский язык // Языки народов СССР. В пяти томах. Том I. Индоевропейские языки. М.: Наука, 1966. С. 55 — 122.

Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М.: Наука, Школа «ЯРК». 1999.

Пешковский А.М. Избранные труды. М.: Учпедгиз, 1959.

Полищук Г. Г. Необходимые и факультативные определения в русском языке: коммуникативная и конструктивная роль. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2011.

Попова З.Д. Синтаксическая система русского языка в свете теории синтаксических концептов. Воронеж: Истоки, 2009.

Распопова Т.И. Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку или...? // Мир русского слова. 2001. № 1. С. 39–42.

Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М.: Русские словари, 2000.

РГПЭСС — Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь / под общ. ред. Л.Г. Бабенко. М.: Флинта: Наука, 2002.

Русская грамматика. Т. II. Синтаксис / глав. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Наука, 1980

Русский язык: Учебник для студ. высш. пед. учебных заведений / под ред. Л.Л. Касаткина. М.: Академия, 2001.

Санников В.З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М.: Наука, 1989.

Серль Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М.: Прогресс, 1986. С. 151–169.

СССРЯ — Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. Изд. 2-е. М.: Русский язык, 1983.

Стаменов М. Начини за представяне на субекта в езика // Език и идиолект. София: Военно издателство, 2006. С. 31–89.

Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. Семиологическая грамматика. М.: Наука, 1981.

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. 3-е изд. М.: Академический Проект, 2004.

Стуликова Ю.А. Фрагмент итальянской языковой картины передвижения в пространстве // Язык. Система. Личность. Языковая картина мира и ее метафорическое моделирование / отв. ред. Т.А. Гридина. Екатеринбург, 2002. С. 102–105.

Талми Л. Отношение грамматики к познанию // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 1. С. 91–115.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988.

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. I–IV. М.: Советская энциклопедия, 1935 — 1940.

Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. С. 169–182.

Ухтомский А.А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А.А. Собрание сочинений. Т. 1. Л.: Изд-во ЛГУ. 1950. С. 293–315.

Федосюк Ю.А. Утро красит нежным светом... Воспоминания о Москве 1920–1930-х годов. М.: Флинта: Наука, 2003.

Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М.: Прогресс, 1981. С. 369–495.

Фролова О.Е. Грамматика заглавия // Русская речь. 2006. № 5. С. 49–57.

Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993.

Фрумкина Р.М. Языковые гештальты и проблема представления знаний // Сборник от научни трудове, посветен на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев. София, 1993. С. 138–150.

Хилл А. О грамматической отмеченности предложений // Вопросы языкознания. 1962. № 4. С. 104–110.

Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л.: Наука, 1979.

Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.

Шарандин А.Л. Курс лекций по лексической грамматике русского языка. Морфология. Тамбов: Изд-во Тамбовского ун-та, 2001.

Шведова Н.Ю. О некоторых типах фразеологизированных конструкций в строе русской разговорной речи // Вопросы языкознания. 1958. № 2. С. 93–100.

Шендельс Е.И. Совместимость / несовместимость грамматических и лексических значений // Вопросы языкознания. 1982. № 4. С. 78–82.

Шмелев Д.Н. О «связанных» синтаксических конструкциях в русском языке // Вопросы языкознания, 1960. № 5. С. 47–60.

Шмелева Т.В. О семантике структурной схемы предложения // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 37. 1978. № 4.

Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957.

Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 24–39.

Юдина Н.В. Сочетания «прилагательное + существительное» в лингвокогнитивном аспекте. М.; Владимир, 2006.

Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.

Aarts J.M.G., Calbert J.P. Metaphor and Non-Metaphor. The Semantics of Adjective-Noun Combinations. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1979.

Barnetová et al. Русская грамматика. 1–2. Praha: Academia, 1979.

Bobrowski I. O pewnych arbitralnych decyzjach ściśle gramatycznych przy wyznaczaniu zbioru zdań lingwistycznych // Polonica XVII (1995). S. 75–80.

Boniecka B. Pragmatyczne aspekty wypowiedzi dziecięcych. Lublin, 1995.

Čelakovský F.L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha, 1978.

Dirven R., Verspoor M. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam / Philadelphia, 1998.

Fónagy I. Languages Within Language. An evolutive approach. Amsterdam; Philadelphia, 2001.

Heringer H.J. Neues von der Verbszene // Pragmatik in der Grammatik. Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache 1983. Düsseldorf, 1984. S. 34–64.

Janda L.A., Clancy S.J. The Case Book for Russian. Bloomington: Slavica, 2002.

Kawka M. Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich. Część I. Kraków: Instytut badań polonijnych, 1980.

Kintsch W. *Memory and Cognition*. Malabar, 1982.

Kuryłowicz J. *Podstawowe struktury języka: grupa i zdanie // Problemy składni polskiej // red. A.M. Lewicki*. Kraków: PAN, 1971. S. 37–44.

Langacker R.W. *Grammar and Conceptualization*. Berlin; N.Y., 2000.

Lange K.-P. *Language and Cognition*. Tübingen, 1985.

Panevová J. *Some Issues of Syntax and Semantics of Verbal Modifications // Proceedings MTT 2003. First International Conference on Meaning/Text Theory*. Paris, Ecole Normale Supérieure, June 16–18 2003. P. 139–146.

SJP – *Słownik Języka Polskiego*. Red. M. Szymczak. T. I–III. Warszawa, 1998.

SSGCzP – *Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich*. Pod red. K. Polańskiego. Tom I–V. Wrocław et al. 1980 – 1992.

Taylor J.R. *Cognitive Grammar*. Oxford, 2002.

Topolińska Z. *W sprawie przypadku*. Gawęda językoznawcza. Poznań, 2010.

Zimek R. *Sémantická výstavba věty*. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

Учебное издание

Норман Борис Юстинович

КОГНИТИВНЫЙ СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА

Учебное пособие

ООО «ФЛИНТА», 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.
17-Б, комн. 324.
Тел./факс: (495) 334-82-65; тел. (495) 336-03-11.
E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru.